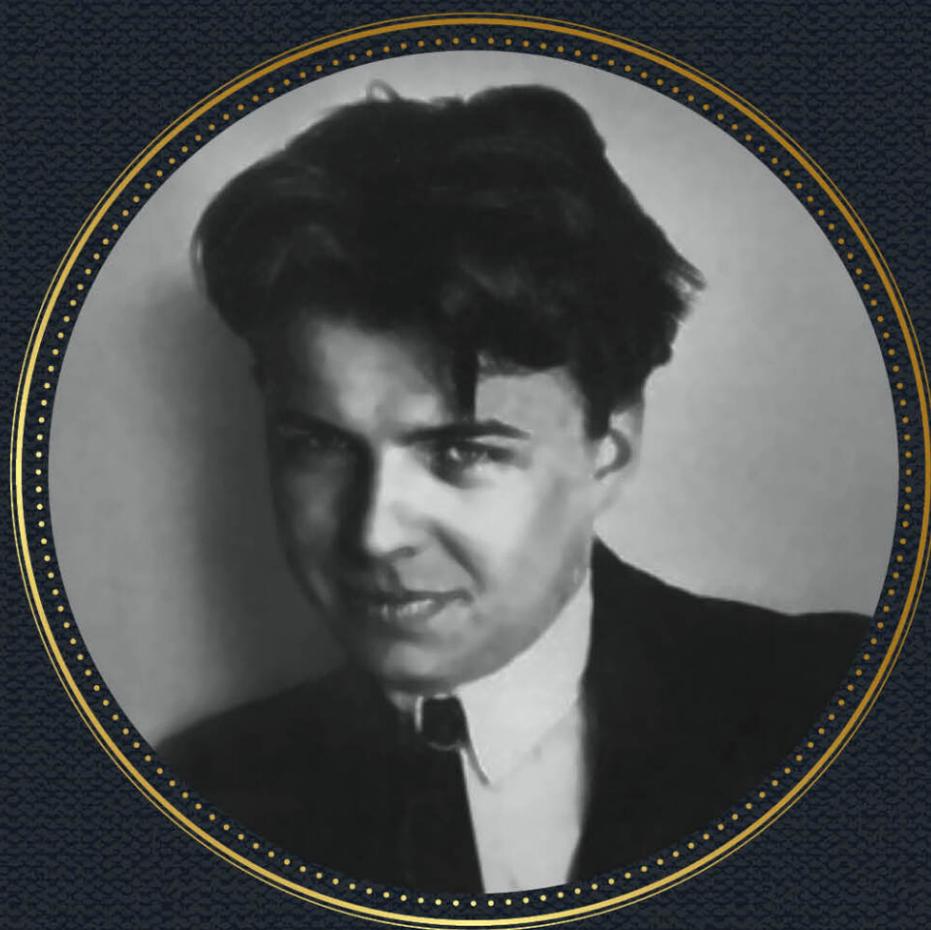


ЛЕОНИД
ЛЕОНОВ



Скутаревский



ВСЕМИРНАЯ
ЛИТЕРАТУРА

Всемирная литература

Леонид Леонов

Скутаревский

«ЭКСМО»

1932

Леонов Л. М.

Скутаревский / Л. М. Леонов — «Эксмо», 1932 — (Всемирная литература)

Известный роман Леонида Леонова «Скутаревский» проникнут драматизмом классовых столкновений, происходивших в стране в конце 20-х – начале 30-х годов. Основа сюжета – идейное размежевание в среде старых ученых, определившее и гражданские судьбы персонажей. Главный герой – крупный советский ученый, профессор Скутаревский, работает над загадочным проектом. Но в его жизни наступает кризис, в семье происходит разлад, все начинает терять смысл. И однажды вечером профессор подбирает попутчицу Женю, которая изменит всю его жизнь. Ценой нелегких испытаний и личных потерь Скутаревскому придется с честью выйти из сложного социально-психологического конфликта.

© Леонов Л. М., 1932

© Эксмо, 1932

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	8
Глава 3	13
Глава 4	17
Глава 5	21
Глава 6	29
Глава 7	36
Глава 8	45
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Леонид Леонов

Скутаревский

Роман

Глава 1

Воспоминание начиналось так: – тусклый фаянс тарелки и горка обсосанных костей на ее шерботом борту. Минутой позже он различал вокруг стола своих покойных братьев и сестер. Дети пристально глядели на ржавую селедочную голову – лакомство и остаток еды. Потом издалека возникала длинная, вся в кислотных пятнах рука отца, вооруженная почти трезубцем. Орудие лениво вонзалось в рыбий позвонок и уносило его с собою, в гулкую дыру отцовского рта. Здесь и начиналось сознательное детство Скутаревского.

Всякий раз, вступая в эти нежилые сумерки, он волновался и робел. Затхлость ударяла в лицо, и оно становилось суровым; пугая и грохоча, продолжал действовать проржавевший механизм воспоминанья... Веснушчатый мальчик целует на ночь портрет Эдисона и прячет под подушку, которая пахнет мездрой и необъяснимо поскрипывает; юноша, феноменально рыжий, ночует в товарном вагоне, идущем в столицу; студент бьет по щеке реакционного профессора, и сухой звук пощечины свирепо раздирает тишину; молодой адъютант, краснея за люстриновый пиджак, который сидит на нем как на усопшем, везет дорогого учителя в Италию, где тот умрет; знаменитый профессор делает шестичасовой доклад на международном энергетическом конгрессе... Так, с усмешкой разглядывая себя, все искал он чего-то главного, за что стоило бы и погибнуть, но главного не было. Все тревожней звенели в памяти благоговейные клятвы юности о свободе, человечности и культуре... И теперь, виновато вспоминая их, он испытывал тягучее старческое недоумение, какое бывает, наверное, при умирании.

Ему казалось тогда: вот, электрохимический процесс замедляется в этой прославленной человеческой реторте. Из тела пропадала та злая моторная неукротимость, за которую в самом начале карьеры приятели прозвали его кометой. То была старость ее, отускнение, коррозия ее плавучего и непрочного металла. Свершив параболу, комета возвращалась к двери, через которую однажды ворвалась в мир. Эта воображаемая дверь в небытие представлялась близкой, круглой и темной, как рот отца. И вот уже его самого, несомого на трезубце, провожали неживые глаза покойных братьев... – Кстати, их всех было шестеро вначале, оборванных и одичалых от нужды. Четверо, вырастая на улице и без призора, погибли разное, а шестой, уцелевший от колес, прорубей и детских эпидемий, отражался теперь в мутном зеркале провинциальной гостиницы.

Зеркало висело под большим наклоном к полу, и оттого человек в нем сидел как бы без головы, в полутьме, свесив с кровати жилистые ноги. Может быть, он созерцал тоненький пыльный лучик из-за оконной занавески, неторопливо переползавший комнату, пробуждая вещи. И вот, едва пятнышко света коснулось пальца на ноге, пришел в движение. Кровать скрипнула и подалась назад. Он вскочил, он метнулся, он почти разодрал надвое оконную шторку и зажмурился от солнечной щекотки. Желтенький, проникнутый осенним тленьем, лежал сентябрь по ту сторону окна. В ржавой пустоте огромного пустыря, корявое, все в пламенах облетающих листьев, стояло дерево. На его простертом пальце покачивалась ворона, взъерошенная, как дворняга.

...его ноздри вздулись; ярила их нечистая влажность гостиницы. Он двигался, переходя в наступление, и вещи вокруг него шумно летели на пол, точно срываясь с центрифуги; кажется, это называлось гимнастикой. В передышках он внезапно оборачивался к зеркалу,

чтобы застать себя взглядом врасплах. Тогда он топорщил линиялый хохолок бородки, щупал лиловатый, еще твердый бицепс, раскачивался, смеялся и пел. Он пел про могущество осеннего, неопровергнутого утра; он пел про смешную поспешность, с которой отступила ночь и ее призраки; пел он, разумеется, беззвучно, – с его голосом разумнее было посвятить себя научной работе целиком.

Его ладонь уперлась во все четыре звонковых кнопки, и тотчас же гостиницу наполнил глухой электрический звон. Так длилось, пока в дверную щель не просунулась лысая голова; на ней подозрительно ерзали рачьи глаза.

– Входи полностью! – с разбегу и ликуя, крикнул. – Кто?... Фамилия?

– Подушкин, коридорный.

– Член профсоюза?

– Ноне все мы члены, – пятился тот.

Он робел говорить с голыми, не ведая чина их, власти или состояния.

– Активист, поди?

– Да нет...

– Что ж так? – пело вздыбленное скутаревское вещество. – В такие дни... нехорошо, Подушкин!

– Да все некогда. – Он подмигнул. – Да и не по пище-с!

Вся его плотная фигура, однако, вызывала какое-то раздражающее воспоминание; туловище его, как у большинства бывших городских, начиналось где-то возле колен; щеки в богатейших подусниках – и никаким профсоюзным билетом не прикрыть было этой полицейской приметы.

– Так вот... снегу сюда... Целый сугроб снега. Пошел! – и брезгливо махнул рукой.

Для наступления, которое он задумал, требовалось втереть в себя снежную колкую бодрость, но снегу не было: плод приходился не по сезону... Плечом и ладонью снова и снова вдавливал он звонковые пуговики, посылая по проводам оглушительные прерывистые сигналы. Снегу не было. Весь постоялый дом гудел, как раковина, и вся живая слизь из его многочисленных витков сползала за дверь Скутаревского. Это становилось происшествием, так возникают катастрофы! Снегу не требовали даже капризные иностранцы, которых время от времени доставляли на постройку соседней электростанции. И хотя постоялец занимал самый роскошный номер – с исправной форточкой, со стеганым атласным одеялом, с летающими Озирисами на потолке – венцом творения местного живописца, – гостиница противилась, пока постоялец сам и в голом виде не высунулся в коридор.

Снег принесли в деревянной плошке и через полчаса; то ли он задохся в подвале, то ли умер в неводержных руках Подушкина, но, сизый и мятый, он уже припахивал навозцем. Тогда открыл форточку и стоял так, в потоке ледяного осеннего пара; но в десять его ждали на экспертизу новой электростанции. Старик одевался неторопливо и тщательно в это утро, как на торжество. Выходя на улицу, он был строг и сосредоточен, и проводить его в этот очень далекий путь вышел на подъезд один только Подушкин.

– Усы сбрей, сбрей усы... – покосился на него, проходя мимо. – Заметно очень!

– Не цапайтесь, гражданин, – угрожающе откликнулся тот, расковыривая булку и по частям отправляя ее в рот. – Эвон, в хлебе-то опять окурочки попадаться стали...

...Он вышел из дому во вторник утром, а вернулся в среду к ночи – неузнаваемый, в черном воротничке, взволнованный и больше чем усталый. С полдороги вдобавок, по необъяснимой прихоти, он отпустил машину и последние километры до городка вышагивал пешком по разьеженной пустынной дороге; крутой, как из бадьи, сибирский ливень всю ночь хлестал эту безответную тишину. И как будто не профессор шел, а бродяга торопился на ночлег, – старик шел и молча пел, выделявая свои обычные злые штучки над самим собою; влажный встречный ветерок лизал ему лицо и руки. Он шел привычной своей, не по годам стремитель-

ной походкой и все присматривался: вдруг захотелось остаться наедине и залпом продумать накопленное за десятилетия. Но и думанье не удавалось, и взгляд его бездельно тащился по полям, зализанным до прелой рыжей щетинки. Скоро парному от ходьбы веществу его стало жарко и тесно в узком английском пальто. Остановясь на бугре, он стоял так, посреди безмерного вечеряющего пространства, лицом к городку, без шляпы и в распахнутом пальто.

Это был крохотный, с избытком церквей, северный городок. Новый подымался рядом, весь в проводах и молниях электросварки, и старый томился, как нищий в рваном сером балахоне. Понуро сутулились когда-то знаменитые купеческие хоромы, а ранняя зима рвала и трепала на уже безглавом, отовсюду видном соборе голые кустики какой-то поросли. Угольная копоть и слепящая цементная пыль неслись на эти деревянные отрепья; самый ветер над головой напоен был металлическим скрежетом: казалось, в буре и грохоте новое племя шло заселять наново перепаханную землю... Чумазные облака над этим печальным виденьем поминутно менялись, по-разному отражаясь в памяти; увидел рыбу на взметенной облачной волне, потом какое-то взрывающееся облачко хлопчатника, а третьим... Третьим плыло нечто пухлое, до холода в спине напоминавшее ненавистный профиль Петра Евграфовича.

Всю дорогу сопровождало его то приподнятое настроение, когда и самое незначительное явление становится знаменем. И оттого, едва вспомнил о Петрыгине, разом померкло удовольствие прогулки и воротилась ночь. Он почувствовал, что промок и переутомился; он испугался возможности опоздать на поезд, хотя вовсе не торопился домой; он отчетливо и с завистью представил себе, как Черимов, ученик его и заместитель по институту, давно сидит в буфете и с остервенением молодости пожирает жесткие станционные шницеля. Чихнул, поскользнулся и с чертыханьем нырнул с бугра своего в низинку, где, тощий и далекий, дразнился огонек из просвирника, наверно, оконца.

Ветер усилился, ночная бесотня завывала в телеграфных проводах, и какой-то, прилипчивый, над самым ухом называл как будто по имени... То урчали и захлебывались скутаревские башмаки, одолевая осеннюю дорогу.

Глава 2

Пока не остыл от ходьбы, не чувствовал и озноба. И вдруг, едва ввалился в купе, разом закурило, путанные обрывки мыслей потекли в голову, а по телу проступила знойная сухая ломота: начиналось. Уже в полубреду он расслышал черимовское: «Эх, обожаемый, на четвереньках, что ли, добирались?» Но даже и поморщиться дружеской фамильярности не хватало сил. Он свалился на койку, и на долю Черимова выпало счастье раздевать обожаемого учителя, который ребячливо сопротивлялся; он же добывал чай у проводника, брезгливо пил теплое безвкусное пойло и закусывал консервами из какой-то пресной розовой водоросли.

– Спать, спать... – отечески говорил Черимов и стоя доедал морскую траву, которая, к удивлению его, оказалась с костями. Видевший смерть у самых своих ресниц, он не особенно верил во всякие простуды. – Пока – спать, а приедем – и в баньку. Дядька пропарит... Черт, никак не удастся заставить его профессию переменить. Банщик – эко поганое ремесло! – Он вынул часы. – А ну, проверим расписание!

Он удовлетворенно кивнул своему отражению в ночном оконном стекле. Едва стрелки совпали на одиннадцати, вагон качнуло, потом луч с платформы прочертил полосатый плед, под которым ежился, и тогда лишь накатило вязкое дорожное оцепенение. То был сибирский экспресс, он бежал почти без остановок, и все веселее становился дробный речитатив колес. Временами он переходил в пляс, в вихревое неистовство, и тогда усерднее прижимал колени к подбородку, точно прячась от ветра. А ветер был длинный и красный. Он оставлял позади себя длительную рябь, и в ней мучительно колыхались пучеглазые, недодуманные идеи, обноски мечтаний, звуки, вещи, люди и, наконец, то, самое сокровенное, что люди прячут и шифруют от самих себя. Потом все расплывалось, точно недостаточно было молекулярное сцепление между образами, а ветер с маху налетал на гремучее жестяное дерево.

До боли знакомыми голосами звенели эти жестяные листья. «Умирать – это правильно...», «бессмертье – бунт индивида!», «...ерунда, образуем новые вихри», «сквозь наши груди пробиваются сочные дерзкие ростки будущего...», «слышишь, шумит листва?», «чепуха, истлеем, гнусно пропадем: мы умираем прочно!», «они впервые имеют за что умирать!», «храните жизнь!...». Этот последний дребезг принадлежал ему; он вскочил и красными глазами уставился в мир. Там спокойно и ровно горела лампочка под латунным абажуром. С откидного столика свешивался ворох бумаг; Черимов листал их и делал на полях отметки. Он казался лохматее обычного и озабоченнее, но в расплеснутом сознании Скутаревского отразился только острый блик чайной ложки в недопитом стакане.

Подвижное лицо Скутаревского выражало теперь полное расслабление. Температура поднималась, и знойным бредом пенилось расплавляемое вещество. Учитель и ученик вглядывались друг в друга с противоположных берегов рассудка, дивились и не узнавали. Тогда Черимов привставал ему навстречу и почему-то косился на свой чемодан, где перед отъездом обнаружил пузырек с йодом. В этом случае йод означал лишь крайнее его бессилие помочь учителю, и опять они расставались на долгие бесплодные часы.

Снова наклоняясь над чертежами, отпивая глотками остывший черный чай, Черимов боролся с дремотой и перебирал в памяти подробности последних суток. Усталость давила ему на плечи: две ночи он провел в каком-то диком, бумазейном кресле, спиной к турбогенератору, слабо гудевшему под нагрузкой в сорок тысяч киловатт. И оттого, что впечатленья последней недели спутались в нем в неразборчивый клубок, перед ним также проходили вереницы людей, и почему-то выпуклей, честнее, заметнее других был облик Фомы Кунаева. Они познакомились давно, в научно-техническом секторе ВСНХ, куда Фома заезжал по вопросу об изысканиях фрезерной разработки торфа. В те сроки звезда Фомы лишь всходила над советским горизонтом, никто не предугадывал, что через два года этот молчаливый турбинный мастер

станет начальником большого строительства. Но причудлива судьба советского человека, и вот Черимов повез к нему, на крупнейшую районную станцию, самого Скутаревского ревизовать кунаевские дела и достижения.

Все обошлось гладко; играла военная музыка, и маком цвел могучий Фома; застенчиво толпились у агрегатов бородатые ударники и герои строительства; нагло, с видом арбитра, улыбался приезжий американец, жуя свою резинку и в упор разглядывая степенную, немногословную породу тамошних людей. Была выставлена на осмотр длинная цепь чудес; в ее первом звене тугая, в двадцать четыре атмосферы, водяная струя разбивала слежавшиеся слои торфа, а в ее конце таинственно и трепетно помигивала контрольная лампочка на удивление окрестных мужиков. Их понабилося много и везде – у пирамидальных бункеров, взнесенных над печами, у аккумуляторных ям – везде напряженно блестели голубоватые глаза, точно напуганные приходящей новизной. И в самом деле, было достойно удивления, что то самое торфяное болото, где от века бесполезно цвел гравилат да топла тощая мужицкая скотинка, теперь движется, шумит и светит. . . светит, черт возьми, на потребу социалистического человека! В станции – ни в размерах ее, ни в общей схеме – не было ничего чрезвычайного, достаточного для потрясения иностранца, но революция строила их десятки одновременно, и в этом штурмовом напоре заключалось их высокое поэтическое значение.

Торжество грозило затянуться. Экспертиза разбилась на группы, и американец, с пристрастием облазив все, бродил теперь по цехам вместе со Скутаревским, который, один из всех, мог изъясняться на его языке; беседа велась по-английски, так что шедшие рядом Кунаев с Черимовым могли следить за разговором лишь по выражениям их лиц. Сперва гость все пошучивал, преимущественно на алкогольные темы, и, кажется, из желания польстить Скутаревскому, показал ему в темном переходе – они направлялись в турбинный зал – плоскую фляжку с советским коньяком, которую по привычке таскал в заднем кармане.

Он дал понять, что не слишком осведомлен в этой области, и тогда тот не очень логично перескочил на проблемы мирового кризиса, уже потрясавшего заокеанскую республику.

– Простите, – недобро покосился Скутаревский, – видимо, у меня не хватает чувства юмора на вашу остроумность. Не улавливаю, в какую именно связь вы ставите вашу очередную экономическую катастрофу и винную торговлю вообще?

– О, русские всегда плохо понимают шутку, – комически взмолился тот. – Вино доставляет забвение несчастий, а небогатому человеку в Америке сейчас недоступно это лекарство. Я хотел сказать, что сухой закон доведет нас до революции.

Скутаревский жестко посмеялся, не разжимая губ.

– Ну, для этого, в свое время, у вас найдутся более существенные основания, – едко прибавил он, и, хотя слова эти не были выношены где-то в сердце, его радовала честь произнести эту заслуженную колкость.

Злость делала совсем раскосыми и без того нерусские глаза Скутаревского. Гость был журналистом, объезжавшим очаги молодой советской индустрии «для пополнения капиталистического образования» – как иронически объявил он сам с доверительной улыбкой. По слухам, до того как сделаться корреспондентом промышленной американской печати, гость был крупным инженером, хотя и не оставившим следа ни в технике, ни в науке. Скутаревского раздражало, что этот сведущий специалист, на лице которого не отпечатлелось особого пристрастия к алкоголю, избегает говорить с ним на тему, ради которой, в сущности, оба они пришли сюда. Не нравились ему, равным образом, ни снисходительная ирония, ни самоуверенная скромность этого заокеанского соглядатая, и даже возмущала потертая фуфаячная жилетка под поношенным пиджаком, рядом с которым костюм Скутаревского выглядел почти щегольским. Но он примечал и сам уйму всевозможных упущений и промахов как в проектировке, так, одинаково, и в оформлении станции; и то последнее, решающее обстоятельство, что работу

эту проектировал его сын, Арсений Сергеевич, заставляло его в этом разговоре конфузиться, раздваиваться и молчать.

Не мудрено, что американец стал догадываться об истинных чувствах провожатого своего.

– ...не удивляйтесь, что я не критикую качеств этой станции, – вкрадчиво сказал он, касаясь руки Скутаревского. – Я только гость, которого терпят; я ем то, что мне дают. Кроме того, я достаточно уважаю вас, мистер. Я знаю ваши книги. Мне приходилось освещать ваши работы в нашей печати. Я имел удовольствие – правда, случайное – присутствовать... – Они поднимались в котельную. – Позвольте, я отдышусь, – сказал гость, останавливаясь на минуту, – ... присутствовать на вашей лекции в Вудстонском университете. Вы не помните меня, я сидел в левом ближнем углу. Это было в двадцать третьем году, но с тех пор...

– Это было в двадцать четвертом, – резко поправил, прочеркивая воздух рукой. – Но, если можно, давайте ближе к делу. Я не люблю воспоминаний.

– Хорошо, – сказал тот и ногтем поцарапал новехонькие поручни винтовой лестницы, где они стояли. – Плохая краска – это непрочная краска, мистер. У вас плохо понимают экономию. Я не смею говорить о мелочах, которые вы видите и сами и которые вряд ли существенны для молодого общества, каким является ваше. Оно еще не успело выработать американского, делового отношения к миру. Оно еще склонно обожествлять энергию и машины, ее производящие. Ему хочется строить дворцы над каждым агрегатом... Я имею в виду габариты здания. Оно не задумывается даже над разумным использованием поверхностей нагрева... даже!

– Прощу прощения... – прервал Скутаревский. – Эту станцию строили молодые наши инженеры по указаниям приезжих американских звезд, получавших за это хорошие, честные советские деньги... мои деньги в том числе! Хотите вы сказать, что звезды светили вполне и указания их были не вполне добросовестны?

Американец помолчал, губы его стали жестки.

– Словом, я не советую брать эту нарядную ошибку за стандарт. Конечно, это ошибка юности, за нее все мы дорого платим. Мне пятьдесят, пылкая юность моя, пожалуй, кончилась, а я только теперь начинаю уметь. Юность всегда расточительна, но и при этом условия вы идете гигантскими шагами. Пока у вас только Кентукки, но лет через пятьдесят у вас будет уже свой Бостон... Что вы хотели сказать?

– Да, – в бешенстве откликнулся Скутаревский; в конце концов речь шла о его цеховом инженерском достоинстве. – Насколько я понял, вы были инженером?

– О, и я любил это дело... но, под давлением некоторых обстоятельств, был вынужден изменить свою профессию.

– Можно уточнить, за что вас удалили из любимого дела? Вы были плохим инженером... или... что-нибудь посложнее?

– Это безработица, мистер.

– Это и вынудило вас заняться журналистикой?

Тот сделал вид, что не расслышал вопроса.

– И все-таки Россия сейчас самая любопытная часть вселенной. – Он вежливо протянул своему спутнику мятую пачку сигарет: – Курите!.. Кстати, почему у вас так много говорят по любому поводу?

Скутаревский дрожащими пальцами перематывал рулоны самопишущих приборов, которые подоспевший техник сунул ему в руки. Они волочились по полу, ленты ябедной, разграфленной бумаги, а он не видел ничего, кроме нечеткой, волнистой линии, фосфоресцирующей на темноте. Гость выдул часы и вдруг заторопился; он снисходительно объяснил, что имеет только полгода на беглый осмотр всех чудес этой неслышанной страны. Черимов вовремя отошел в сторону. Кунаев сказал гуд-бай – все, что он знал по-английски, неуклюже, зато от души, молча поклонился гостю и повернулся спиной. Вещество его чадило и клочкотало; ему было

стыдно за сына, и сжимались кулаки на Петрыгина, через которого проходил проект и которого уже давно он разглядывал с враждебным вниманием. Он испытывал жажду, зуд в руках, потребность в ругани и стал спускаться вниз.

– Ну, что он сказал? – догнал его Кунаев.

– Он не сказал ничего. Он из тех, которые терпят нас, пока мы самые западные из азиатов, и возмущаются, когда мы заявляем себя самыми восточными из европейцев... – ответил Скутаревский, не понимая, ради чего он лгал сейчас этому горячему, непоседливому человеку.

В суматохе Кунаев так и не уразумел ничего. Да тут еще в окно со двора, заваленного щебнем, стружкой и разбитой цементной тарой, ворвалось медное, воинственное воркотанье оркестра. Торжество еще продолжалось, когда распространился слух, что суждения экспертизы крайне благоприятны. Тем более угрюмое молчание Скутаревского и поспешный отъезд американца селили смущенье в неискушенных участниках торжества. Им хотелось, чтобы вместе с ними радовались все – и этот любознательный гость, если только доступно ему при его европейски здравом смысле бескорыстное ликование молодости, и этот генштабист индустриализации, как обозвал Скутаревского впопыхах энтузиастический председатель исполкома; вечером к тому же замышлялась дружеская вечеринка с пельменями и приезжими знаменитостями. И вот тут-то, при осмотре котлов, шести Стирлингов по семьсот двадцать метров нагрева, и спросил у Кунаева во утоление какой-то непостижимой потребности: «... вы радуетесь обилию воды или количеству котлов, товарищ?» И сразу это мимолетное словесное облачко раздулось в целую тучу курчавой черимовской головой. Просматривая графики котлов, шурша синеватой калькой чертежей, которые захватил в дорогу, все доискивался он правды, о которой не смел догадываться, и, кажется, впервые клял свою дерзкую, безопытную молодость; пожалуй, стоило бросить академическую работу, чтоб только разгадать этот чертов ребус. Графики отличались отменным благополучием, и даже содержание CO₂ было точно такое, какое предписывалось в учебниках. В чертежах также все обстояло исправно, каждой гайке, каждому метру провода имелось свое точное занумерованное место; притом тщательность исполнения была такова, что, в глазах Черимова, никакой картине не сравняться было с ними по красоте. Минутами, теряя надежду на собственную прозорливость, он уже протягивал руку разбудить учителя и, жертвуя всем, спросить в упор о значении обмолвки, и всякий раз не решался.

Тот спал на той сокровенной глубине, куда лишь длинными, кружными путями просачивается биенье действительности. Все теперь стало ему ненужным – ни мир, ни плоско нарисованные на нем понятия, ни мнение людское, ни честь его инженерской корпорации.

Мысль, которая за последние месяцы туго и неуверенно вызревала в нем, теперь воплощалась в окончательные почти фантастические виденья. – Туманная, голубоватая долина предстала ему среди хребтов недвижимых и снежных. Она была обширна и пуста, ее реки текли напрасно, ее богатств не раскопал никто, – ей не хватало лишь людского творчества.

Он видел ее как бы с высокой горы, откуда проще и понятней путаная география мира. Лавины людей приходили сюда из дымных и мрачных предгорий; они пугливо жались у скалистого прохода, ослепляемые едким, как бы ртутным светом долины. Старые дома их развалились, а новые еще не построены; ночи их были темней, а одиночества страшнее, чем в те первобытные дни, когда еще не писались, а только пелись первые земные книги. Они и тут пытались петь, – неуклюжие их голоса повторяли сиплый лай ветров, под которыми были зачаты. Не сразу, не дружно они уходили в свою голубую неизвестность, а он оставался один на своей горькой высоте...

На протяжении двух суток, пока длил ось возвращенье, образ этот повторялся многократно, все острее и могущественней, убедительнее смерти и все менее уловимый в непрочные, неемкие слова. Периоды такого изнуряющего ясновидения чередовались с кратковременными вспышками полной ясности, но до последней облегчающей испарины было еще далеко. В перерывах открывал глаза и лишь по освещенности окна угадывал – утро, сумерки или вечер

застает его, больного, в дороге. Гора его шла за ним неотступно, как судьба, возвращение в семью пугало, о сыне он старался пока не думать, друзья... их он заводил ровно столько, чтобы не совсем разочароваться в людях. Оставалась работа да еще вот Черимов, который, присев рядом, с неумелой нежностью держит его влажную, обессилевшую руку. Учитель сидит молча, с голыми волосатыми ногами, и опять в зеркале против себя видит свое отражение – бескра-сочное, точно в болотной воде. Волосы смокли на нем и слиплись, как на гончей. Ему кажется, что его преследуют зеркала: не зеркало – так осколок стекла, лужа на дороге, всякий другой глянec, мимо которого проходит. Мир полон его отражений, и каждое твердит, что комета идет на убыль...

Он внимательно рассматривает побелевшие свои ногти.

– Да, это сотерн. Вы пили сотерн, молодой человек? Должно быть, подшипники мои сно-сились. Да, поступь ума моего стала тяжка; он уже не парит, он ползает, его брюхо в пыли. Он уже боится той самой логики, которую раньше делал сам. Посадите на моей могилке желтые цветы. Яростно люблю кадмий.

Реплика означает выздоровление; Черимов терпеливо прислушивается к стариковской воркотне. Выздоровливающие болтливы, как дети.

– Вы еще порядком побузите на этом свете, Сергей Андреич. Я никогда не чувствую раз-ницы наших возрастов. Что?... мне?... вчера стало тридцать. Мне и сейчас хочется похлопать вас по плечу...

– Похлопайте, ничего. Со временем вы напишите хороший некролог обо мне. Отметьте, что вся разработка вопроса о направленных антеннах принадлежит мне. Не отрекайтесь, у вас есть литературные способности... Да, кстати, что вы думаете об Арсении?

Ему хочется говорить; его томит жгучая потребность объяснить, сколько ему еще нужно сделать и как это ему трагически не удастся. Сумерки делаются гуще. Простоволосые призраки ночи вприпрыжку скачут за окном: пар. Он тает и внезапно рождается вновь. Гремят стрелки, проскакивают огни, паровозные искры чертят на мраке тысячи осциллограмм.

– Я не видал его десять лет, Сергей Андреич. Я не знаю. Он был славный парень, но всегда с какой-то поправкой на интеллигентский истеризм... – И вдруг: – Сергей Андреич, вы обмолвились третьего дня Кунаеву про котлы, помните? Что означал ваш намек?

Напрасно он расчленяет слова зевотой, чтоб обмануть бдительность учителя. Тот знает, о чем думает этот скромный и требовательный ученик. Он молчит, и каждая протекающая минута притупляет остроту вопроса, поставленного врасплох.

– Мне скучно стало от речей, молодой человек. Я и в прежние годы их не терпел... Я даже как-то плешивею от молебнов. Будьте добры теперь, задерите шторку. Мерси...

Ночь входит в купе. Ноги тяжелеют, тело теряет ориентацию на вещи и внезапно утра-чивает вес. Снова у входа в утопическую долину теснится человечество. Но все окутывается дымкой и мельчает, точно смотрит в обратную сторону бинокля. Потом пространство между сознанием и явью единым махом заполняет сон, огромный и мохнатый, как гора.

Глава 3

Открыв дверь своим ключом, он тихо вошел в квартиру и стоял там, как чужой, которого не приглашают войти. Он стоял долго, прислушиваясь к затухающему фырканью машины, на которой Черимов завез его домой. Все обстояло по-прежнему. Прямо перед ним, в просторной прихожей с лакированными обоями, возвышался шкаф, дубовый, замысловатой работы честного и бездарного мастера. Поистине это была вещь: она обладала собственным характером и запахом, она вселяла в посетителей подобающую месту серьезность, по веснам оттуда изобильно выпархивала моль, но, какой священный семейный инвентарь хранится там, так и не узнал никогда.

Высоко на шкафу стояли в тесноте серые от пыли гипсы – грек с вытекшим глазом, поэт со знаменитыми бакенбардами, лысая французская старуха, как зло изобразил ее Гудон, музыкант со стихийным лбом, распахнутым, как мишень, чудесный флорентиец, воспевавший ад, окрестности любви, рядом с тем мантуанцем, которого избрал себе в путеводители, – и еще казалось, будто одному из них, умершему в самый год его рожденья, творцу богов, пророков и сивилл, все шепчет на ухо пронизательный бородач из Пизы, что вот он обшарил космос и, отыскав закон, нигде не нашел бога. Позади, в тени и забвенье, теснились еще и другие, и тот же серый пепел судьбы одевал их непокрытые головы. Обращенные лицом к двери, они, казалось, приставлены были охранять драгоценный скарб Скутаревского, и лишь один стоял затылком, драматург в елизаветинском жабо, с зелеными кудрями; когда подрастал Сеник, любимец матери, ребенку давали играть с ним, и тот раскрасил этот бледный, величественный мел своею детской, неумелой акварелью. Весь этот пантеон недружелюбно взирал теперь на Скутаревского, который со сжатыми, в сущности, кулаками вторгался в собственный свой угол.

Сергей Андреич снял пальто и тихо повесил его на место.

Кто-то сидел у жены. Он прислушался, досадливо обернув ухо к коридору, откуда раскидывалась путаная анфилада профессорских комнат. Сиповато и в приподнятом стиле гость расхваливал высокое качество неизвестного товара. Речь шла о необыкновенной легкости формы, о насыщенной динамике и четкости фигур, о благородстве композиции, о сохранности – как будто не было впоследствии ни варваров, ни гуннов, ни христиан. И оттого, что расточительный поток этих мудреных слов поминутно прерывался раскатистым кашлем, а на полу, рядом с калошами, валялась мятая, гнусная шляпа, а на вешалке торчало знакомое пальто с проплатанным карманом, Сергей Андреич догадался, что это пресловутый Осип Штруф прихлопнул на продажу какой-то неопишуемый шедевр.

– ...это разновидность чернофигурной амфоры, – так и свистели из Штруфа словесные брызги. – Вы видите эти пурпуровые искры на одеждах Артемиды и Коплита? Ясно, это круг мастера прекрасного Дианокла! Эта безумная вещь стояла в подвале, спрятанная от большевиков. Я пришел, я влюбился, я ходил к ней на свиданье каждую ночь, я забывал спать, я потерял на ней здоровье... Я продаю, потому что ее могут разбить собаки.

– Но по раскраске, – слабо сопротивлялась мадам, – это напоминает одну пепельницу... я видела у Петрыгиных.

– ...и у ней была такая же, характерная для Коринфа, рубчатая розетка? И эти покатые плечи, эта ножка, чтоб прикоснуться к грешной земле?... – Он опять раскашлялся, точно раздираемый пополам, а тем временем подивился – какую мошенническую фантазию следовало иметь, чтоб у дурацкого сосуда из-под оливкового масла отыскать плечи и ноги. – Я пришел в первый раз – вещь эта лежала во мраке подвала. В углу проходила канализационная труба, и в ней всегда журчало что-то и храпело: дом был огромен. Я зажег спичку... – Холодом веяло от Штруфовых слов. – Из амфоры выбежала крыса, которая жила в ней. Она была старая, с облезлой спиной... Вы знаете, что некоторые породы крыс живут по двести семьдесят лет?...

Я помню ее чуть красноватые вопросительные глаза. Спичка потухла, и в страхе я сбежал, но только затем, чтобы вернуться через неделю.

Стиснув зубы, Сергей Андреич прошел к себе, но скрипнуло под ним в разошедшемся паркете, и тотчас же жена догнала его у кабинета. Словно Сергей Андреич и не уезжал никуда, она заговорила быстрым привычным шепотом, каким разговаривают накрепко сжившиеся супруги: муж не имел времени вставить и слово, если бы даже и захотел. Она объяснила: Осип Бениславич просит за вазу такие пустяки, что Петрыгины, с которыми она давно соревновалась, в случае отказа немедленно ее перекупят. Притом ваза явно старая, из подвала, чудом уцелевшая от большевиков, редкой тематики, и, что самое главное, подлинность ее удостоверялась сертификатом брата Скутаревского, Федора Андреича, музееведа и художника по ремеслу. Жена торопилась выпалить свои доводы, потому что в столовой, где одиноко выкашливался Штруф, имелись незапертые ящики, а плачевная репутация Осипа Бениславича требовала особого присмотра и осторожности.

– Может быть, ты взглянешь сам? – Она предложила это лишь из дипломатии: муж никогда не вмешивался в ее приобретательскую деятельность. – И, кроме того, если это перевести по нынешним ценам на масло, то окажется совсем даром...

Брови Скутаревского дрогнули.

– Приготовь мне белье, Анна. Я иду в баню.

Она вскинула на него близорукие, в пенсне, глаза и испугалась его надтреснутого голоса: так звучит беда. Вокруг рушились инженерские благополучия, ломались карьеры, гибли репутации, распались семьи, – она боялась всего. Она закусила губы, чтоб не выдать тревоги. Рядом с ней стоял, зябко потирая руки, совсем чужой человек, ничем не похожий на Сеника, и даже волосы на нем, глубокого янтарного отлива, стояли как-то дико. А всего страшнее было то, что никого ближе у нее не было в мире, с кем она могла бы посоветоваться о вазе. Тогда ей захотелось, чтоб он закричал, затопал на нее – вещь небывалая в их семейной практике, но тот не раскрывался и молчал. Она даже не порешилась прикоснуться щекой к его лбу, как делала всегда, чтоб узнать – есть ли жар; кстати, за последние четыре года Сергей Андреич как-то и не болел ни разу.

– Что с тобой?... ты болен?... ты потерял чемодан? – И вдруг ей стало не по себе на этой нелюдимой половине мужа.

Квартира негласно делилась на две неравные части; во второй, значительно большей, жили обособленно жена и сын, – даже и гости у них бывали разные, и это существенное различие начиналось именно со Штруфа. Бакалавр неопределенных наук – по его собственному признанию, а на деле акционер предприятия, в котором когда-то работал и Петрыгин, он аккуратно, не реже двух раз в неделю, забегал сюда со сверточками с заднего хода. Его товар зачастую определял политическую ситуацию страны. Сперва он таскал крупу и масло, потом накрепко проперцованные анекдоты, запретные новости, остренький слушок и, наконец, какую-то поблеклую бронзу из разбитых дворянских особнячков. Коллекция шедевров пополнялась; Анна Евграфовна утверждала, что кое-чем она не уступит и Люксембургскому музею, а фамилия Скутаревского, вырезанная на медной дощечке, надежно охраняла квартиру от всяких непрошенных вторжений.

Все здесь было заставлено, завешано вещами, а иное золоченой гроздьё или хрустальной арабеской даже свисало с потолка. Кунаев, придя сюда впервые, испытал великое томление духа; его душал затхлый аромат этих сомнительных сокровищ. Века и расы сварливо, подобно торговкам, состязались здесь, и было поучительно видеть, насколько по-разному гонялись прославленные художники за красотой, чтобы усадить ее в неуклюжую клетку своего искусства. Было чему дивиться Кунаеву: во что только не трансформировалась, пускай чужою волею, неукротимая гениальность этого примечательного человека. Глубочайших окрасок нефриты, овальные и прямоугольные холсты, старое резное дерево, стекло, из которого привередли-

вый мастер изгнал его материальную тяжесть, цветистый и распутный фарфор, средневековая бронза, японские лаки, серебро – до крайности похожее на аугсбургское: мадам интересовалась всем. Отсутствие смысла замещалось формой; недостаток формы оправдывался ценностью материала; малая ценность прикрывалась стариной, и тогда самая ветхость обманывала порочной и расслабленной прелестью, готовую распасться на куски. Все это проигрывало на дневном свету, но вечером сверкало и слепило стихийным напором чужого и бесполезного вдохновенья.

– Осторожней... весь этот утиль имеет тенденцию падать на голову, – шутливо оправдывался хозяин и спешил увести гостя к себе. – Идемте отсюда, идемте. Мой ящик там...

То был действительно ящик, и состоял он из одной полутемной, окнами во двор, комнаты, которая не переклеивалась никогда. На сосновых незастекленных полках покоились труды инженерных ферейнов, технические словари, научная периодика и дремали классики электрофизики. Для работы имелся тут длинный, как койка, стол, да еще жесткая, как стол, койка, чтобы спать; кроме того, здесь же десятый год сохла араукария в кадке и еще притулился старомодный термоэлектрический прибор, стоявший без заметного употребления. Когда очередная работа не нуждалась в лабораторном опыте, Сергей Андреич энергично ходил по комнате, рассеянным взором блуждая по пятнистым стенам. Единственная, и то как-то боком, висела тут фотография Милликена, присутствующего на конгрессе энергетиков, да еще фагот – давнее и ставшее знаменитым увлечение Скутаревского; среди знакомых почему-то предмет этот числился под названием **драндулета**.

Часто в сумерки запахивались вплотную стеганные на вате портьеры, наглухо замыкались двери, – и в полупустой этой коробке, где на протяжении четверти века зарождались движущие идеи прикладной электротехники, начиналась странная звуковая возня, почти драка и порою даже как бы сражение Скутаревского с никому не ведомыми фантомами.

Должно быть, это и была мелодия его судьбы; несложная, как в курантах, она велась вся в среднем регистре, настойчиво и гнусаво повышаясь к концу...

Мадам терпеливо сносила это бедствие: сам Эйнштейн в пятнадцатом году играл вторую скрипку в оркестре, – первую вел один грек из Госплана, которого ей однажды показали в театре.

В такие часы Арсений Сергеевич шутил сквозь зубы, что отец перекладывает на музыку свой очередной доклад в ВСНХ.

... И вот лицо Сергея Андреича отобразило гнев: драндулета не было на обычном месте. Там на могучем бронзовом крюке висел портрет длинноносого начальственного человека в берете и с выпяченной губой; из-за плеча выглядывала скверная его длинномордая собака. И хотя человек был одет в гофрированный атласный камзол, с буфами и красной оторочкой, а на руке имел перстень, было ясно, что это сам Штруф и есть, лишь в ненатуральном своем виде.

– Я просил не трогать моих стен, – сдержанно сказал Сергей Андреич и сделал решительный шаг к обезображенной стене; вдруг он заинтересованно, даже с подобием свиста, втянул в себя воздух: – Позволь, но ведь это сам твой Осип и есть, я узнаю его унылый сизый нос. Анна, да ведь это же глумлень!..

Жена торопилась оправдаться:

– Это портрет Франциска Первого... очень редкий. В Ключи висит только копия этого... Я хотела сделать какой-нибудь интимный подарок.

В действительности все обстояло проще: в ее комнатах просто не хватило стен на французского короля. Еще вчера вместе со Штруфом она поражалась мастерству и чуткости безымянного портретиста. Да, это был тот блистательный неудачник, но позади уже оставались грустная Павия и альказарское пленение; душевная болезнь уже притушила его глаза, смяла симметрию лица, и даже новеллы его веселой сестры, лежавшие на острых коленях, не могли рассеять смертной меланхолии.

– Да, да, это, конечно, Штруф. Теперь я сама вижу. Именно нос совсем как у Штруфа...

И, точно учуяв, что честность его подвергалась сомнениям в глазах постоянной клиентки, тот явился немедленно сам и уже расшаркивался в дверях. Нос его одевали роговые очки, и за их топазовой дымчатостью пряталось то главное, для чего он жил, а жил он, говоря по секрету, надеждой на возвращение утраченных акций. Центр его тяжести обретался где-то в коленях, вздутых пузырями и всегда подломленных вперед. И еще – всегда, где бы он ни стоял – у окна или даже на улице, в майский ли полдень или в ноябрьские потемки, лицо его было освещено неровно, смутно: такое освещение будет, если человека запихать под бильярд, что, по его словам, и проделала с ним судьба.

Явно, человек этот гибнул, и сперва не сознавал, а потом даже понравилось, и то, что вначале было ударом судьбы, теперь стало его профессией.

– Не правда ли, похож? – разом уловил он нить разговора, но подойти ближе ему, видимо, не позволяло благоразумие. – Федор Андреич допытывался, не потомок ли. Я отрекся, потому что бумаги утеряны, а карточки хлебной за такое родство лишат. Но я всецело согласен с вами, Сергей Андреич! Что общего имеет ваше имя с битым французским королем? Это даже компрометирует в такой обостренный момент, когда, знаете, интеллигенцию... Э, да что мне вам говорить! Вы слышали, Вараввин и Брюхе арестованы!.. Этому портрету место где-нибудь над лестницей, на хорах, исторические сюжеты следует содержать в темноте: обольстительно и благородно. Но повесьте лампочку в шестнадцать свечей, и очарование исчезает, а остаются рыла какие-то и кровь, кровь!.. Нет, лучше я вам приведу безобидную собаку. Редчайшей породы, хотя и маленькая... но ведь собаки растут быстро, как бамбук! Кстати, простите, что я без воротничка... – заключил он, прикрывая горло с жилистым кадыком.

Он говорил так длинно потому, что опасался – как только перестанет, тут его и выгонят.

Сергей Андреич кивнул на стену:

– Где мой инструмент?

– Он упал, – ответила жена с внезапно состарившимся лицом.

– Так, – очень твердо произнес и вдруг прорвался: – А короля выкинуть!.. такое... такое надо резать в ямах и заливать хлорной известью. А вам уголь грузить. Грузить некому, а вы лодырь... стыдно!.. – Он задохнулся и провел ладонью по лбу: – Выдай мне белье, Анна, я схожу все-таки в баню.

Все устраивалось, таким образом, ко всеобщему благополучию.

Когда Сергей Андреич вышел, мадам переждала минуту и обернулась к Штруфу с язвительным лицом:

– Я разделяю вполне гнев мужа. У меня самой идиосинкразия на такие лица. Сергей Андреич против покупки вашей вазы. Он вообще не терпит греков...

– Это невероятно!.. – отшатнулся Штруф.

– Да, но он может себе позволить это, милый Осип Бениславич! – играя пенсне, молвила мадам.

– Имя Сергея Андреича котируется очень высоко. Я бы даже сказал: – это готика! – И он покашлял, почтительно склоняясь. – Я слышал также, что он вступает в партию?

Мадам загадочно улыбнулась:

– Нет, это сплетня. Есть люди, которым выгодно бросить тень на него. Вы наследили, надо вытирать ноги. Итак, до свиданья, Осип Бениславич.

Штруф опустил голову и грустно глядел на левый свой башмак. Он был бескаблучный, со шнуровкой от самого носка, такие употребляют для коньков. Осип Бениславич думал о том, что недалек день, когда все откроется и старинные клиенты, тыча всякими словами, погонят его взащей. Вдруг он поджал отвалившуюся челюсть и вскинул голову:

– Прекрасно... Итак, собачку я вам затащу на днях!

Глава 4

Дело начинается со старой баньки, что стояла в низинке у реки, в стороне от уличных протоков, – ветхое одноэтажное зданьице, притаившееся среди безглазых фабричных корпусов. Они зычно ревели по утрам, они дышали в небо грузною летучей чернотой, они владычили на всю округу – банька же ничем не заявляла о своих древних неоспоримых правах. Простой и синий, синей синего моря опоясывал ее кушачок веселой вывески, и четыре ухватистые буквы плыли по ней, как из простонародной сказки парусатые корабли. В людные торговые дни, когда останавливалась гремучая жизнь корпусов, во весь спуск, до дощатого банного заборчика, выстраивались бабы с яблоками и пыряющими в нос квасами, носатые молодцы, с жесткими мочалками и карамелистыми мылами, выползали подпольные старцы с венниками, и тогда пахучий, в меру перебродивший товар их песенно шумел на речном, низовом ветерке. Сквозь замазанные известью оконца сочился смешной звук – помесь голоса, растворенного в гулком банном духу, и еще воды... великолепной воды, которая льется! Приходил сюда главным образом рабочий люд да еще угрюмая солдатская братва из соседней казармы, ибо на окраине стояло место. Так что, когда вспыхнуло октябрьское пожарище, заведение пустовало, и Матвей Никеич Черимов, пожизненный банщик и сторож чужой раскладенной одежды, всю субботу высидел бездельно, изредка вздрагивая и просыпаясь от громов дальней пальбы.

Парился тогда в горячем отделенье один только отставной, на деревянной ноге, полковник, столь великий любитель, что, когда действовал он, никто другой не смел взобраться к нему на полку из-за жары. Парился он обычно сам, в мокром картузе, парился до того крайнего градуса, пока не грозило ему обратиться сразу в невесомое, газообразное состояние. Отпарившись же, пристегивал ногу, выползал в раздевальню и отлеживался часами, накрытый простынею; из-под нее ужасно, подобно указательному персту, торчала в пространстве его незатейная, на кожаном ходу, култышка. Был он молчалив, безвреден, кроме войны, не умел ничего, век доживал на пенсии и, будучи одиноким, на баню тратил все свои досуги... А тут, случилось, смешанный отряд рабочих и солдат отыскивал пристава, местного душителя и грозу; бежал тот от расправы и близ самой бани растаял как бы в ничто. Они вошли, шестеро, со штыками наперевес, прямо с перестрелки, за один тот день пропахшие вьедливым военным запахом. Они увидели на лавке цветной, начальственный околыш и, хотя не было на нем ненавистной кокарды, засмеялись, всякий по-своему, но все об одном и том же. Они посмотрели на Матвея Никеича и подмигнули ему на мокрую дверь, из-под которой доносилось плесканье. Они втиснулись туда все шестеро разом, одинакие, как братья, молча и деловито; задний заметно шатался от усталости. Вышли они оттуда через минуту, слегка смущенные и потные от банной духоты. Они ушли, не оглянувшись на Черимова, который продолжал сидеть на лавке со строгим неподвижным лицом.

Розовую мыльную пену, расплеснутую по скользким ступеням, скатили водой, и потом очень скоро все забылось. Матвей Никеич был банщик и, чтоб не волноваться, удивления до себя не допускал. Самое снятие царя несколько его не поразило; оно походило на снятие одного устаревшего монумента, которое ему удалось наблюдать и которое ему в высшей степени понравилось: генерала тащили, а тот покачивался и упирался, но вдруг упал, и вот раскололись на части бронзовые его шаровары. Видел он также, как вскрывали угодника в соседнем с его деревней монастырьке, и один приезжий из города для пущей наглядности скоблил мощи перочинным ножичком, но и это на него не подействовало. Одна только полковничья кончина произвела на него решительное действие. Он стал прислушиваться к разговорам людей, по-прежнему переполнявших баню в субботние дни. Голые, они бывали в особенности откровенны и не стеснялись выразить своими словами то, что волновало их в те поры. Раз Матвей Никеич спросил о знакомом слесаре, ранее не пропускавшем ни одной субботы. Ему ответили,

что убит на деникинском, и тут же прибавили, что пора бы и ему, Матвею, повоевать маленько за рабочую власть.

– Куды мне, я банщик. Барабаны, что ли, таскать! – И отвернулся, покраснев.

До того случая был он этакая бородатая амеба, дикарь; из деревни выписали его мальчишкой; не видя ничего, кроме голых спин, он и сам с течением времени становился баннным инвентарем. Если банька пустовала, он сидя спал, и кошмарные сны сказочного Анепсия-царя были детскими выдумками в сравнении с его видениями. Даже в молодости снились ему не бабы, не сражения, не обновы, а нечто лукавое и множественное: например, рыбы в пиджаках, либо сто тысяч архиереев одновременно, либо поле; а по нему ползают рогатые улитки, либо просто щека, но громадная и выбритая до такого лютого непотребства, что Матвейка отражался в ней весь, в натуральную величину. Тяжелей свинца была его подушка от застрявших в ней несуразиц... да и мало ли какие чудища бродят в дремучих лесах сновидений! С возрастом стали ему сниться бороды всевозможных покровов, как в парикмахерской, на парижском листе, различных мастей и вывертов, орда, целое нашествие бород, этокое шерстистое ликование. Тут он и сам от безделья стал отращивать себе бороду, и довольно успешно, и некому его было остановить.

Родни у него не было, брат умер еще до возникновения этой шалой прихоти, а племянник, прожив у дяди полгода, сбежал на тот же самый крошечный стеклянный заводик, где работал и его отец; не терпел племянник ремесла, к которому начал приспособлять его дядька. Матвей тогда не огорчился: «Молодцы не жалеют; шипаная-то, она кустистей растет!» Позже, еще совсем малолеток, племянник дрался на фронте, после чего невероятными усилиями выбирался вверх по ступеням науки, а дядька все спал, выжидая своего часа. И поистине, нужно было выстрелить в него из мортиры, чтоб пробудить. Изредка, заезжая в столицу, Колька Черимов забегал навестить дядьку на его дырявом чердаке. Он присаживался на узкой койке и долго, пристально, прищуриваясь сквозь кулак, разглядывал своего неговорчивого родича. Тот сидел перед ним, большеротый, с огромными ноздрями, к людям прохладный, насмешливый, наблюдатель жизни, кошель неистребимой звериной силы.

– Никак, бороду мою смотришь? – выговаривал он наконец.

– Хороша, ты из ней ровно из багетовой рамы выглядываешь!

– Полезная вещь, – с тем же ядком соглашался дядя и поглаживал ее бережно. – Надись в кино звали сыматься. Трешницу давали и пищу.

– Просто шелк... – все покачивался, стиснув зубы, племянник. – С такую и горла не простудишь: ровно в валенке. Не кури только, а то спалишь ненароком!

– Ничего, я ее храню.

В сущности, он нарочно рядился перед племянником в дикарскую свою наготу. Уже с год он обучился грамоте, и хоть с опозданием, но узнал, за что – не умерщвленный во многих знаменитых кампаниях – погиб безвинный полковник. Нарочно, чтоб пуще раззудить Кольку, он рассказывал в подробностях, как в свободные дни играет на дворе с ребятами в орлянку стертыми николаевскими пятаками; тот дрожащей рукой поглаживал растерзанный краешек одеяла, на котором сидел. Порою хотелось ему потряхнуть дядьку за плечи и кричать, кричать ему в ухо, как на митинге, – о, какую, дескать, лопатую мешать ленивые твои мозги! Но чердак был гулок и просторен, крик человека терялся тут, под глухую тесовую обшивку. Тогда он молча снимал со стены и, в который раз, принимался разглядывать выцветшую от времени фотокарточку, где изображен был какой-то военный вполной форме и при усах. И еще там висело – но не девушка в венчике, не ангелок с пасхальным яйцом, а сам писатель Короленко, которого полюбил Матвей Никеич из-за его чудо-бороды.

– Выпиваешь? – улыбался Черимов и кивал на полку, где, подобно матери с младенцем, стояли винная бутылка и крохотный стакашек.

– На ночь растираюсь. От воды хрящики мои ноют.

– Это оттого, что спины чужие трешь, нагибаешься.

– Ты не кричи, а то прачкину девочку разбудишь. Тут у нас за перегородкой прачка живет.

– Почему берешь со спины? – вдумчиво осведомлялся племянник.

– Руль. Приходи, с тебя половину по родству... – И вот грозился разбухлым пальцем: – Чего, чего мурчишь? Я дурю, да вон башка-то как смоль. А ты и учен, а эвон вокруг ушей-то ровно паутинкой оплело. – Так пренебрежительным спокойствием мстил он этому мальчишке за попытки сманить его на фабричку, откуда самого его уже увела судьба. – Ну, ты посиди тут, я тебя не гоню... – И начинал при госте шумно укладываться на ночь, а однажды, к пущей его досаде, даже и молитовку вслух почитал.

– Все озорничаешь, все путляешь... ось, гадюка! – оборонялся племянник, нехотя берясь за шапку. – погоди, дохлестнет и до тебя.

А жизнь менялась; расплавленная, она текла, застывая в причудливые, неожиданные формы. Банька хирела, потому что соседние заводы, расширяясь за счет чужих владений, выдавливали ее из низинки могучими кирпичными плечьями. Матвей Никеич видел больше, чем мог понять, но явственно чувствовал за этим затишьем расхлестнувшуюся, почти бездонную пучину. Одного ему хотелось, чтоб уж скорей. Бывало, ночной и близкий, колотился в крышу дождь, чердак наполнялся вздохами и шорохами, и тогда, лежа на твердом своем одре, он раздумывал, как все это случится – в землетрясении, в потоке или же под видом пожара. Возраст его как бы остановился, он не старел, даже не лечился ни разу, а просто старался не заболеть; всякий зазевавшийся микроб погибал в нем немедленно, как в печке. Но раз, выбежав в стужу за веником, он подхватил детскую какую-то простуду и неделю провалялся у себя на чердаке. Прачкина девочка раз в день приносила ему воды. Отощавший и страшный, он лежал один, и вдруг ему пришло в разум, что эдак легко и умереть. Кстати, мучила еще боязнь, что молодой банщик Кеша, новое его начальство, не поверит в его болезнь. Поднявшись до срока, он оделся и, как прежде, отправился на работу. Достигнув спуска, где улочка ломалась, он остановился, не узнавая места.

Пыль, легучая известковая дымка парила над низинкой. В ней уже не маячило привычное синее пятно с буквами, огромными, как в букваре. Баню разбирали, а заодно срывали церквуху, с которой она соперничала по субботным дням, кто в себя народу больше приманит. Соперницы погибали вместе, пыль их мешалась и зыбко поднималась на ветер. Артель каменщиков хозяйственно копошилась на оголенных стенах, и один с остервенением и с намаху вклинивал железный лом в окаменелую от времени кладку. Матвей Никеич простоял здесь долго, мешая проходу людей и прицеливаясь вниз потерянными, впервые раскрывшимися глазами. Желанная гроза пришла; она опаляла его веки; пророчества племянника сбывались. Он вспомнил каменную плесень на стене баньки; она то рыжими письменами, то дерущимися гарпиями распространялась по кирпичу. Еще он вспомнил чахлую сиреньку, что торчала в окне раздевальни, и вдруг прислонился к стене: у него задрожали колени. Когда же спустился, там выворачивали котел – круглую, обожженную посудину, у которой он кормился долгие годы. И он помог людям выкатить ее на катки, потому что всегда надо помогать живым побеждать мертвое.

За выслугу лет его перевели в баню высшего разряда, ближе к центру, с огромными окнами, мозаичными полами и всякими водяными ухищрениями. Но то была уже не прежняя языческая мыльня, капище тела и веника, а просто санитарное учреждение комхоза. Народ сюда ходил почище, но Матвею Никеичу понравился лишь один – стремительный, с рыжеватинной человек. Повествуя племяннику о новом знакомце, Матвей Никеич сказал: «Публика чистая и все с пузырями. В иного руку всодишь – еле вытащишь; скоро жиреют, скоро и колеют. А этот тощеват и, судя по масти, горящий человек. И на чем в жизни догорит, про то не хватат моей мысли...» Посетитель, видимо, тоже не прочь был поговорить с людьми на римский манер, в голом виде, когда ни различие одежд, ни житейская чиновность не мешают простой

человеческой искренности. Первая их беседа, недолгая, состоялась о табаке и мухах, а вторая о покойниках; Матвей Никеич полагал, что разумнее производить похороны ночью, чтоб не осквернять дня. Третья заключалась в рассуждении и истолковании разных мечтаний. И тут выяснилось, что втайне от начальства мечтал Матвей купить себе подходящую гору, со всем лесом, каменными зубьями и зверьми, и чтоб сесть на ее макушке и смотреть, и чтоб дикие грозы округ, и чтоб толстые молнии, ломаясь и щепясь, беспрестанно жгли и клонили эту землю. Уединение на горе свойственно было, таким образом, им обоим; должно быть, именно поэтому, придя с противоположной стороны, и встретился Матвей со Скутаревским.

...Было близ полдня, когда Сергей Андреич вошел в баню; в раздевальне висело всего с дюжину пальто, и одна, между прочим, кожаная тужурочка. Банщики скучали; один сидел и от безделья щупал себе нос, хотя нос был вполне обыкновенный; другой читал статью в газете. Делал он это с великой тщательностью, и, когда Сергей Андреич уходил, тот смотрел все в ту же страницу. В зале стояла утренняя, незадышанная свежесть, – самые усердные парильщики появлялись позднее, к закрытию. Намереваясь выпарить из себя всю простуду зараз, Сергей Андреич сразу же спросил себе Матвея Никеича, и паренек, оторвавшись от газеты, сообщил, что Матвей тут больше не работает, а почему так получилось – объяснить не сумел. Тогда Сергей Андреич отправился прямо в жаркое отделение. Здесь было пусто, обильно пахло раскаленным камнем, в высоких окнах дымчато и розово светился сентябрьский денек... Он пошел за угол, за шайкой, и вдруг разглядел в сумерках распаренное глянцевитое тело, довольное и усталое; верхнее освещение делало его короче и толще. Рядом, на пестрой мозаичной скамье, вопреки правилам комхоза, стояла бутылка с квасом, и в ней продолговато и массивно отражался упитанный бок толстяка. Все это выражало почти эпическое спокойствие совести, и нужно было обладать неуживчивостью Скутаревского, чтоб разглядеть сокрытую азиатскую улыбку позади такого торжественного, безоблачного благодушия.

– А, – сказал толстяк вместо приветствия, и подбородок его, широкий и плотный, заметно раздвоился от улыбки. – Вот, приказано потеть. Сахар, сахар, родной мой, донимает. Восемь процентов, смекаешь? Скоро буду сладкий, как свекловица...

– Ага, значит, и ацетоны есть? – сдержанно откликнулся Сергей Андреич.

– Что ты, оборони бог! – И, налив стакан, с маху выплеснул его куда-то в усатый промежуток между носом и подбородком. – Ну, что в Сибири?... почем жизнь?

Глава 5

Это и был Петрыгин, брат его жены и когда-то лучший друг, но первый хмель дружбы давно прошел, и осталась одна горькая похмельная фамильярность. Впрочем расхождение их началось вскоре после того, как покидали с себя студенческие тужурки; тут и обнаружилась первая трещина. Скутаревского потянуло на новый факультет, и сперва он очень бедствовал в скудной должности ассистента при каком-то институте; да и впоследствии, сделавшись преподавателем, не особенно жирел. Петрыгин же сразу ввинтился в житейскую машину, точно для полной исправности только и не хватало ей этого новехонького с крутой нарезкой шурупа. Обставляясь на первых порах, он и лицо себе выдумал благородное, но в меру, чтоб не отпугивать приятелей, и репутацию весельчака и выпивохи, хотя никто нигде не заставлял его с бутылкой. А легче всего давалась ему удалая его беспечность, на которую, как на звонкую монету, покупал доверие людей. Фортуна благоприятствовала трактирщику сыну; первый же его хозяин, предприимчивый и просвещенный фабрикант, правильно учитывал перспективы распространявшегося электростроения. Молодой инженер поехал в Англию наостриться на – тогда еще передовой – английской промышленности, чтобы с барышом применить на практике у благодетеля и будущего тестя. Петр Евграфович не рассказывал никогда, как получал он этот чек из рук покровителя искусств, дарований и отечественных мануфактур: один стоял, другой сидел, но тот, который стоял, еще вдобавок и посмеивался. Так, со смешком, он укатил, молодой, проворный, с русым кудрявым пушком вокруг розовых щек. Вернулся бритым, с желтинкой под глазами, вывез, кроме знаний, еще великий страх перед Европой, который впоследствии его и повалил. Тут как-то неприметно и породнился он с хозяином на почве общего дела и любви: молодая буржуазия умела покупать нищих, не снижая их взлета, не ущемляя их щепетильного достоинства.

В то время успешно заканчивал свою диссертацию; факультеты пригодились ему наконец. Тема ее, которая неотвратимо возникла у него из следствий Максвеллова закона, сталкивала в нем электрика и математика. Через изучение электромагнитных колебаний, добираясь до сущности всяких колебательных явлений, он уперся в главу, которую, как ему тогда казалось, невозможно было обойти. Дело шло о причинах свечения и электрической самозащите глубоководной фауны. Именно эту главу, над которой на протяжении лет неоднократно издевался Петрыгин, Сергей Андреич заканчивал у него на даче. Вычурная эта и дорогая коробка стояла высоко над рекой. Вечерами принято было наливать чай до одури и безуступчиво спорить обо всем, что, естественно, по-разному отражалось в сознании теоретика и практика.

Тогдашние их распри протекали бурно и весело; всякая отвлеченная формула, которую обозначал просто интегралом, представлялась завтрашнему шуруину его либо качеством металлического бруса, либо атмосферным расширением в котлах, либо кинематикой движущихся шестерен. Сразившись в одной области, они хватались за другое оружие, и молодость, слепой и дерзкий поводирь, таскала их с одного обрыва на другой. Случалось, речь заходила о социальной борьбе, и тогда, потешаясь над эскековским уклоном будущего зятя, Петр Евграфович указывал с видом превосходства, что только практическая наука и техника способны менять лицо жизни, что все дело в совершенстве машин, а не в классовой борьбе, что изобретение ткацкого станка, например, дало человечеству больше, чем любая социалистическая программа; он уже и тогда высоко ценил свое инженерское звание. Гость кусал губы и сопел. Трещинка на дружбе была еще тоненькая, как на той аляповатой сахарнице, что бессменно торчала на столе. Порою, желая блага приятелю и действуя на дрянное чувство, Петр Евграфович распахивался перед ним во всем своем житейском блеске; Сергей Андреич видел кроме дачи – выезд, весьма сараистую квартиру, саженного Гюбер-Робера в позолоченной раме, самовар с затейливыми ручками из благородной кости, всяких обстановочных посетителей в котелках, но злая щелочь

нищеты ни в малой степени не разъедала его фанатического упрямства. Молодой ученый вступал в жизнь без лавров, без триумфальных арок, даже без лишней пары штанов: буржуазия еще не видела, за что ей следует платить этому угрюмому босяку.

Тем же летом к Петрыгину приехала сестра, курсистка Аня. Она была чернявая, вроде жужелицы; некоторое неблагополучие с ушами она искусно драпировала блестящими, точно лакированными волосами. Стояла затянувшаяся весна; легкий зной перемежался с дождичками; ежевечерне влажная дымка стлалась над полями внизу. Все цвело – кусты, лужи, дворник Ефим, небеса, жирная остролистая, как бы нафабренная трава вокруг крокетной площадки, деревья цвели, птицы... казалось, еще ночь – и зацветут вовсе неодушевленные предметы. А едва по небу глубокие, с грустинкой, проступали ночные взмывы облаков, начинался звонкий, как бы с арфы, ветерок, – балдел от такого изобилия красот... В такую-то ночь Аня пришла к нему в беседку.

Она считала себя передовой девушкой, мораль она сводила к чисто физиологической гигиене. Она сказала, что молодость длится до поры, пока не чувствуешь бремени материи, из которой сделан; удивился, про это он нигде не читал, ему понравилось. Она запутанно выразилась, что мещанство – неперенное качество каждого индивида на одной из Гераклитовых ступеней; смолчал, потому что, кроме электронов, он не интересовался ничем, и все греки представлялись ему одинаковыми гипсовыми лицами. Она спросила, нравится ли она ему; он признался сконфуженно, что, в общем, она довольно благоприятно действует ему на сетчатую оболочку... В полночь началась гроза; беседка не протекала только в одном месте, над кушеткой, где спал молодой человек. Аня задержалась. Она ушла на рассвете, босая... прыгая через лужи. Сергей Андреич стоял на пороге, смотрел, как мелькают ее твердые желтые пятки, и смятенно теребил какие-то цветы, высокие и мерзкие, точно сделанные из ломтиков семги. В кустах шумели дрозды... И ему очень хотелось догнать Аню и извиниться; он еще не верил, что это уже навсегда. За утренним чаем все перемигивались; челядь подносила ему первому. Тетка, которой Сергей Андреич и раньше желал тихого конца, посреди бела дня завела аристон. Петрыгинская собака до непотребства семейственно лизала ему руки; он отдергивал их, она рычала. Сергей Андреич со страхом ждал, что сейчас ему вынесут пахучий, в копну размером, фиолетовый букет. Но он мирился и с этим, он уважал любовь. Через две недели диссертация внезапно потребовала лабораторной проверки. Он уезжал не один. В коляске у Скутаревских, между колен, сидела та самая собака, подарок зятю. Сам хозяин в чесучовом пиджаке стоял у калитки, махал рукой и посмеивался. Веселое его настроенье разделяли и присутствовавшие при последнем подношении – садовник, кучер, помянутая тетка, мальчишка с мокрыми вывороченными губами и еще какой-то разносчик с ягодами, похожий на Григория Богослова.

Когда коляска тронулась:

– Эй, эй? – закричал Петрыгин. – А отчего все-таки рыбы-то светятся? – и дошел до того, что даже погрозил пальцем.

Молодая жена сразу прибрала к рукам нищее достояние мужа; курсы она, разумеется, бросила. Ей удалось очень скоро приспособить молодого ученого к делу, и верно, положение семьи заметно улучшилось. Целый день супруг что-то изобретал, писал популярные учебники, а жена незамедлительно пристраивала к жизни; большинство его изобретений разбиралось нарасхват мелкими отечественными фабрикантами. Так, капитулируя понемножку, обменивая на рубли свой яростный талант и научную прозорливость, он жил в чаду подозрительных хлопот и совершенно чуждых ему волнений. Марксистский свой кружок он оставил по недостатку времени; так орех, пуская росток в лесной подзол, разламывает стеснительную скорлупу. Петрыгин со стороны направлял практическую деятельность сестры. Он уже опытал, все глубже уходя в тестеву коммерцию; оптимизм его рос по мере увеличения числа акций в предприятии тестя. Тем временем привычный всем кончался, из него вылупливался другой, и этот новый страстно ненавидел прежнего. Через два года, очнувшись от душевного беспя-

мятства, он застал себя в приличной квартире, украшенной помянутыми бюстами; это было и недорого, и благородно. В минуту его протрезвления посреди комнаты стояла ванночка, и в ней, разбрызгивая мутную воду, барахтался большеухий младенец – «оправдательный документ любви», как посмел пошутить при этом Петрыгин, и ошеломленный даже не обиделся. Целый час он ходил и все разглядывал бюсты, шупая у них зачем-то холодные, меловые носы, а потом глядел на свои пальцы. Из соседней комнаты доносилось довольное урчанье мальчика и плеск воды. Это было очень торжественное слово, оно произносилось впервые: сын. Украдкой и по рассеянности набекрень он надел шляпу и вышел. Он шел по улице, и мальчишки смеялись над ним. Он зашел в трактир и впервые в жизни, под оркестрион и в одиночку, напился как извозчик. Он придавал случившемуся огромное значение. Раньше ему казалось, что всякий человек самым своим существованием оправдывает существование отца; теперь он узнал, что сам отец должен оправдать свое существование перед сыном. Круто повернул свой быт, сказала наследственная в его характере жесткость; он вернулся к своим диэлектрикам, на которых специализировался. Предельно опростясь, он несколько лет провел над работой, и все его впечатленья не выходили из тесного круга лаборатории. Однажды его выселяли за просрочку квартирной платы; в другой раз его чуть не убило при испытании высоковольтного трансформатора. Семья кормилась на копейки, а Сеник уже подрастал; мальчику хотелось игрушек, мальчик заболел, и не было дров, – тайно от мужа жена топила печурку толстыми ежегодниками разных ученых обществ, которые старательно на книжных развалах подбирал муж. Жилье их походило на бивуак; посреди единственной комнаты стояла сооруженная из дров и досок тахта; из нее росли зеленые скрученные пружины и жесткий жалящий волос. Сбоку, на сковороде, горела и смрадила колбаса, вверху на веревке сушилось бельецо Сеника, а в окно заглядывала всякая вывеска зубного врача, умершего год назад. Требовался величайший такт жены, чтобы отклонить снисходительную помощь брата. Анна Евграфовна даже не имела времени обратиться к мужу за позволением. Часто, возвращаясь с работы, бессонный и ошалелый, он бывал в особенности нелюдим; в труде он был до маниакальности одержимый человек, – ввинчиваясь в жизнь, он уставал до обморочных состояний и, может быть, имел право на свою грубость.

И тут крупная фирма купила право реализации большой работы Скутаревского по теории пробоя изоляторов. Начало века совпало с порою могущественного разворота электротехники. Человек с бешеной быстротой копил свои знания; он нападал на стихии в открытую, разбивая их поодиночке, и природа не нищала, выдавая свои тайны. Ему уже понравилось летать, но он еще хотел разговаривать через пространства, разглядеть невидимое и взвесить невесомое. Кривая количества механической силы на одного человека двинулась вверх почти по вертикали. Промышленность бурно электрифицировалась; речь заходила уже о высоких напряжениях, о больших расстояниях, о выработке тока в мощных единицах. Открывались новые области, рушились привычные понятия о выгодности, силе и существовании энергии... самая экономика меняла свое лицо. А на горизонте, еще неуклюжие, начинали тлеть первые катодные лампы. Именно область Скутаревского таила в себе буквально блистательные возможности; его успехи могли бы обогатить щедрого покровителя; он шел и сам расставлял вехи, по которым робко и с запозданием двигалась отечественная наука. Комета стремглав поднималась к зениту, и уже из Сименсштадта разглядели ее жестокий взлохмаченный профиль. Две, на протяжении полутора лет, работы о перенапряжениях и защите от токов короткого замыкания доставили ученому имя. И тогда-то пришла к стати гибкая антреприза жены. Муж как бы выстрегивал одну из самых грозных колонн, на которых покоился космос, жена продавала на сторону драгоценные и бесчисленные стружки. Первое время, наголодавшись и еще не веря в удачу, она дешевила; позже она образумилась, и тогда началось **это**.

– Знаешь, о нем говорят все, – доверительно признавалась она брату. – Знаешь, он совсем бесноватый. Что это... талант?

– Кусай, кусай свое счастье... – сконфуженно поучал брат и сравнивал успех с выменем коровы, которое, если не выдоить, совсем перестанет давать молоко.

Деньги ворвались в квартиру Скутаревских в виде мебели, картин, нарядной одежды; деньги были из бронзы, кости, мрамора и хрустала; деньги становились бедствием, которое следовало преодолевать. Их приносили скромные, вежливые люди; они кланялись, они произносили приятные вещи, они интересовались здоровьем мальчугана, они готовы были здороваться за руку с прислугой. О Скутаревском стали писать в большой технической печати. К нему приезжали с визитами именитые иностранные коллеги. Он консультировал почти в десятке предприятий. Он устанавливал стандарты в международной электротехнической комиссии. Его сманивали в Америку, прельщая судьбой знаменитых беглых соотечественников. Ходили слухи о его кандидатуре на Нобелевскую премию. Он заседал в военно-промышленных комитетах. Его имя ставилось в ряду Яблочкова, Габертейля, Маркони и Лангмюра. Его знали министры, боялись студенты и уважали дворники. Громкое имя его учителя, русского профессора-тяжеловоза, тускло и коробилось, как имя Деви рядом с Фарадеем... Лихая эта метелица успеха длилась до самой революции; она слепила и мешала работе, которая была его целью, подвигом, схимой и единственным путем к самоутверждению.

Самому ему не удавалось насладиться вдосталь ни славой, ни тем звонким сырьем, из которого она делается. Правда, никто не видал его больше в обтертом пиджаке; правда, он сменил галерку, к которой привык со студенческих лет, на четвертый рад партера; он купил себе фагот; он стал чаще ходить на концерты громкой и трагической музыки, которую любил. К остальному он не имел ни вкуса, ни причуд; стремглавый человек, который, по утверждению врагов, логарифмы Гаусса способен был читать как увлекательный роман. Он не считался с недругами, которых вдоволь наплодила зависть, как не считался с соседями, упражняясь на своем ужасном драндулете. Однажды, наигравшись этак досыта, он очнулся и снова огляделся вокруг себя. Квартира его была огромна и походила на музей. На столе лежал ворох писем с советскими и иностранными штемпелями; они пришли кружным путем: Советскую страну уже заперли блокадой. Вдруг он открыл, что знаменит, но это не пощекотало его тщеславия, как когда-то получение кафедры.

Он выбрал одно, с фронта, от сына; оно доползло по оказии: **оттуда** не получали писем. Густились душные летние сумерки. Электричество не горело, и Петрыгин язвил в эту пору, что единственное освещение в улицах было от автомобилей Чека... Как был – в сюртуке, потому что собирался вечером заехать на именины ко вдове старого учителя, обидчивой и сварливой старухе, – вышел в более светлую гостиную прочесть письмо. Еще мальчишескими словами Арсений писал о разном – о товарище по приключениям Николае Черимове, о каком-то смертельном перелеске, где он перележал бой, о неизвестном Скутаревскому Гарасе, а меньше всего о себе, потому что сказать о себе было ему нечего. Между строк он как будто даже благодарил отца за то, что тот настоял на его отъезде в те места, где решалась судьба революции и, следовательно, мира. Вместе с тем ему доставляло как будто удовольствие баловаться гремучими большевистскими идеями; его детский еще ум обольщали молниеносные карьеры командармов, и ему понравилась бы любая война: ее пот, ее кровавая вонь дурманили его незрелое воображение... Прочтя, Сергей Андреич неосторожно прислонился к тонконогой этажерке, и, так случилось, какая-то бесценная статуэтка зазвенела осколками у него в ногах; в сумерках невозможно было догадаться, чем была раньше эта звенящая дрянь. Вещь стояла на самом видном месте, и, смешное обстоятельство, жена так и не вспомнила о ней больше никогда. Он воровски рассовал по карманам острые куски и, разогнувшись, почувствовал, что голоден. Ступая на цыпочках, открыл дверцу буфета; там в закоптелом алюминиевом котелке кисла на доньшке пшенная каша. Он понял, что, несмотря на знаменитость, ему нечего есть. И почему-то именно это сообщило ему веселое и ясное настроение.

По дороге в гости он заехал в институт; тощая, колдовского вида сторожиха принесла ему чай и пирожок из неизвестного вещества, съел его с изумлением. И уже он собирался наконец к обидчивой имениннице, когда ему позвонили из Кремля. Говорил секретарь человека, с именем которого были связаны светлейшие надежды одной и животный страх другой, гораздо меньшей половины человечества. Вождь просил профессора заехать к нему по делу; он обещал не задержать разговором. За Скутаревским прислали машину, и через несколько минут ужасной какой-то неловкости – по коридорам, запутанным, как мозговые извилины, – его ввели в большую нежилую комнату; еще следов разбитого режима не успели соскоблить со стен. Увидел человека, каким его знал весь мир, очень простого и еще тем удивительного, что самые сложные технические замыслы или громоздкие философские обобщения звучали совершенно понятно для каждого в его речи. Он не удивился сюртуку Скутаревского, но улыбнулся, и Сергей Андреич все ждал, что посреди беседы он снимет с себя пиджак и повесит на спинку стула; в равных обстоятельствах так поступил бы он сам. Духота еще не спадала; обгорелое московское небо шелушилось сохлыми скоробленными облачками. Понял улыбку собеседника и неожиданно для себя закурил папиросу из стоявших на столе. Свидание происходило в присутствии другого, невысокого и коренастого человека, которого впоследствии встречал почти на всех правительственных фотографиях. Ленин интересовался работами ученого; он проявил достаточную осведомленность в мировой постановке вопроса; по-видимому, он знал все наперед и искал лишь подтверждений.

– Вы работаете над передачей мощных напряжений?

– Я ищу, – сказал Скутаревский.

– Слушайте... дайте нам эту силу. Ваша помощь позволит нам вдвое ускорить процесс! – Ленин имел в виду электрификацию, план которой только еще возникал.

Он привел на память письмо Энгельса к Бернштейну от 83-го года по поводу опытов Марселя Депре, впервые передавшего по проводу десять киловатт на пятьдесят километров. Энгельсу казалось тогда огромным ничтожное количество транспортированной энергии; он полагал, что это в корне изменит взаимоотношения города и деревни, и не преувеличивал значения этого открытия. Кашлянул; первая в жизни папироса терзала ему горло. Вдобавок Энгельса он знал только понаслышке, Бернштейна знал другого, того зубного врача, вывеска которого заглядывала когда-то в сырую его пещеру. Ленин ждал ответа; его быстрый взгляд, как бы ионизирующий пространство перед собою, остановился на сухих мускулистых пальцах Скутаревского, шупавших карман с осколками разбитой статуэтки, задвигался и покраснел; его ответ выражал лишь меру его смущения...

– Пока мне нечего давать. Я ищу, и я не шарлатан...

– Ваш отец, мне передавали, был портной? – непонятно спросил тот, третий.

– Он был скорняк, – шумно вздохнул Сергей Андреич. Наступила пауза; человек в военной форме принес пачку перепечатанных на машинке бумаг, но, прежде чем взяться за них, Ленин распорядился, чтобы временно никого сюда не пускали. И пока он бегло просматривал их, черкая или делая отметки на полях толстым синим карандашом, огляделся. Большая, во всю стену, висела десятиверстка бывшей империи. Карта была старая, на добротном миткале, годная хоть столетия провисеть в прежнем российском департаменте. Но вот ее беспощадными карандашами расчертили на фронты, округа, энергетические бассейны, прокололи в тысячах тех самых точек, где и в действительности прикоснулись к телу России небрежные, подкованные сапоги интервентов или свирепые плуги революции.

...перпендикулярно к длинному, для небольших заседаний, столу находился другой, поменьше, и понравился придирчивому Скутаревскому чрезвычайный на нем порядок. Только теперь он заметил: в углу стола стоял стакан чаю – в нем еще не растаял сахар, и лежал белый, уже забытой формы хлебец с сыром. Редкостное для того времени угощение подчеркивало значительность беседы и служило одновременно как бы границей, за которой стояло – **не свой**. И

хотя он понимал, что именно так и обстоит оно на деле, профессора обидела эта подчеркнутая любезность; она толкала его на сухую и краткую вежливость; в конце концов, его даже тешило, что случайно он оказался в сюртуке для такой знаменательной беседы.

– Вам предлагали пост в правительстве июньской буржуазии?

– Да. Я отказался.

– Это делает честь вашей политической проницательности! – тонко и – показалось Скутаревскому – хитро сказал тот, третий.

– Да нет... просто кадетов не терплю! – И если бы проанализировал себя теперь, то среди причин отыскал бы непобедимое отвращение к тем, кого обогащал многие годы. – Миру сегодня клистирами не поможешь.

Это была кульминационная точка разговора.

– Значит, вы разделяете и средства, которыми мы боремся?

– Да, но... – Они слились в один звук, в новое понятие, эти две противоречивые частицы. – У меня имеются кое-какие сомнения...

– Вот видите, – весь подаваясь вперед, засмеялся вождь, и чуть скрипнуло под ним камышовое сиденье стула. – Если бы вы были свой, наш, у вас не было бы никаких сомнений!

И вдруг, минуя все переходы, он спросил Скутаревского, в чем испытывает тот нужду для скорейшего и успешного завершения работы. Он задал вопрос и, точно предвидя декларацию гостя, откинулся поудобнее на спинку стула, засунув большой палец за плечевой вырез жилетки. Лампочка телефона несколько раз вспыхивала на столе, и только в первый раз Ленин посмотрел на нее чуть вопросительно и не взялся за трубку. Профессор начал спокойно, сообщением той великой технической идеи, которая оправдала бы и еще большую резкость. Он расходился по мере того, как вспоминал обиды, нанесенные науке; кожаное кресло, где он сидел, раскаляло его, как печь; сюртук душил этого требовательного ремесленника. Его речь смахивала на декларацию, которая местами переходила в браваду... Лаборатория при техническом училище, где приютился он с учениками, стала ему тесна. Дорогие опытные трансформаторы стоят прямо на открытом воздухе, не защищенные даже навесом. Городская станция не отпускает потребного количества тока и зачастую выключает без предупреждения. Нет ни литературы, ни самых насущных измерительных приборов. «Мы принуждены мастерить свои аппараты на деревянных гвоздях...» Сотрудники голодают, и еще недавно один из лучших его учеников был арестован за мешочничество. Наука дичает, становится на четвереньки, и, конечно, со временем потребуются новые Франклины и Вольта, чтоб сдвинуть с места застрявшую колымагу... Ленин слушал, улыбался и постукивал карандашом так, словно пробовал крепость его отточенного синего жала. А распаялся, чуть не опрокинул чай, бубнил, гремел, забывая год, сквозь который проходила страна. Двое по ту сторону стола не прервали его ни полусловом; оба знали приблизительный спектр тогдашних настроений интеллигенции; воззрения даже лучшей ее части можно было бы выразить формулой: благословляю тебя, громила, ибо громишь дом, не милый мне... И тогда-то все обернулось по-иному. Ленин предложил построить новый, со своей собственной подстанцией институт, специально для работ Скутаревского и его немногочисленных учеников. Сергею Андреичу предоставлялись выбор места, оборудованья, составление эскизного проекта и даже самая смета. Неожиданная щедрость потрясла ученого; взволнованный, он встал и снова сел. Потом он поднялся уходить, и, странно, уходить ему отсюда не хотелось.

– ...кажется, я вам тут сукно прожег на столе, – заметил он, неодобрительно глядя на сгоревший окурочек.

– Ничего, – засмеялся Ленин и прибавил, когда был уже на пороге: – У нас сейчас плохо с одеждой, но мы приложим все возможные усилия достать вам костюм полегче.

В суматохе чувств так и не понял шутки.

Неписанный их договор исполнялся до щепетильности точно: через три дня молодой военный человек доставил Скутаревскому костюм, но он был какой-то непозволительно клетчатый для ученого и не по росту короток; впоследствии его отдали носить вернувшемуся Сенику, который сразу принял в нем какой-то стрекулистский оттенок. Потом, после двухмесячной беготни, бессонных ночей и бесконечных заседаний, сразу наступила толчея подстегнутой стройки. Жил на стройке и, по преувеличенным рассказам, так и спал в сапогах. Безотличный от прорабов, он следил сам даже за кладкой. У него выросла тропическая, густого кирпичного отлива борода. И одно только ему давалось в меньшем совершенстве – искусство ажурного русского загиба. . . Когда иссякали материалы или бастовали оголодавшие строители, он звонил по телефону, номер которого благоговейно запомнил на всю жизнь. Работа была засекречена, а вместе с нею и сам Скутаревский; за границей думали, что он умер. И правда, эпоха взметнула иные имена – организаторов, полководцев, трибунов. Слава Сергея Андреича звучала надтреснуто, и главная выгода этого заключалась в возможности работать в полном уединении. Химера воплощалась в широкую квадратную башню, почти копию амперовской лаборатории в Женевилье, но с теми улучшениями, которые подсказал сименсштадтский опыт. Все оборудование шло из-за границы. Сквозь окопы войны и рогатки блокады сюда привозили осциллографы, – тогда еще совсем новинки, зеркальные гальванометры, редчайшие компараторные аппараты и те высоковольтные, до миллиона вольт, трансформаторы, которых в ту пору не имели еще и немцы. В плюгавые окрестные флигельки, очищенные от всякого кладбищенского населения – неподалеку находилось староверческое кладбище, – вселили сотрудников будущего института, и в голове Скутаревского уже роились планы о создании целого научного городка на этом могильном месте.

В этот год он жил грубо, всемерно уплотняя свой день. К нему перестали ходить, даже Штруф не просачивался дальше кухни; Сергей Андреич виделся только с сотрудниками, но ни Ханшин, ни Геродов не могли бы похвастаться близостью с ним. Несколько ближе, да и то лишь впоследствии, он сошелся с Черимовым. У молодого и старого не замечалось ни в чем особых расхождений, но примечательно, что и при свиданиях с Петрыгиным, очень редких правда, дело обходилось без больших столкновений. Вряд ли то была взаимная деликатность или боязнь Скутаревского, о котором кто-то пустил злостные слухи, или, наконец, уважение к старой дружбе. Она исчерпалась сама собою, потому что, как это всегда бывает, приятели узнали друг друга до ненависти четко.

Случилась, однако, полудетская на даче, за ужином, схватка, не стоившая упоминанья, если бы ею не был нанесен последний незаживляемый шрам их прежней близости. Вечер был тихий, прозрачный, как бы на паутинке нарисованный. В открытую дверь доносилось яростное щелканье бильярдных шаров. Дело началось со скуки, хоть и винишко торчало на столе, а от анекдотцев желчная отрыжка оставалась на губах; дело началось с разногласий в суждениях по поводу второго закона термодинамики. По существу, каждому было наплевать – кончится или не кончится через мириады лет бессмысленное звездное круженье, и нужно было застарелое раздражение одного и другого, чтобы бывшие приятели наделили простую математическую фикцию, интеграл особого вида, такой живую образной плотью. Сергей Андреич отстаивал формулу Милликена о космосе, извечно обновляющемся изнутри себя; за Милликеном стояли монументально и Гераклит и Джордано Бруно. Точку зрения Петрыгина, который держался пессимистической доктрины Клаузиуса, он считал вредной и даже нигилистической. Он не желал верить в тепловую смерть этой великолепной машины не только потому, что там, на пороге конца, маячили безумные призраки покоя и, следовательно, начала и, следовательно, кого-то Третьего, стоявшего вне суммы элементов мира; он не собирался опровергать ортодоксального богословия, он только верил в сокрытую от него изворотливость протона, во всяческую молодость, в тот лучистый могучий вихрь, который представляет собой Вселенная. Пет-

рыгин глядел тускло и грустно: пессимизм его увеличивался и рос по мере увеличения сахара в моче – и все-таки посмеивался.

– Ох уж эти мне диалектики! – примирительно вскричал он, перегибаясь через стол и подливая Скутаревскому красного винца. – Они воюют против перпетуум-мобиле здесь, на земле, чтоб охотно и полностью приписать его вселенной. Сергей Андреич, брось, стыдись... ты же русский человек, куда тебе в марксисты!

Жены их не принимали участия в споре; одна думала в эту минуту, что Петрыгин составил вдвое быстрее своего приятеля, другая о том, сумеет ли достать хорошие обои для предстоящей переклейки квартиры. Но обе поняли, что имена и идеи – только первые попавшиеся ножи, которые пришлось по руке этим двоим, из одного поколения, по-разному, но уже смертельно раненым людям.

Петр Евграфович имел право посмеиваться; он сидел тогда на видном месте, откуда разбегались нити управления по целому сектору электрификации. Высокое, хоть и незаметное положение доставляло ему тем в большей степени душевный покой. В свое время он уходил по забастовке из профессорской карьеры, но его вдруг вызвали, упрасивали принять новую должность, и он успел согласиться в ту самую секунду, когда уговаривающие уже собрались махнуть на него рукой. Из своего кожаного, почти госплановского кресла он с любопытством взирал на зловещую высоту, где пока еще уверенно балансировал его зять. И теперь, встретясь в бане, он с великим биологическим интересом наблюдал этого голого человека, жилистого и подвижного, будто весь начинен был пружинками.

Тот продолжал стоять, точно зазорно ему было сидеть рядом с шурином своим.

– Вот ездили принимать Арсеньеву станцию. Кстати, кто пропускал проект?

– Как и все ему подобные, проект проходил через мои руки, через Энерготорф. А что... – И раздумчиво глядел в угол, где эшафотно, в постоянных сумерках, возвышался полоч.

– Я опротестую эту станцию, – резко бросил Сергей Андреич. – Я ее, к чертовой матери, опротестую...

Петрыгин лениво шевельнулся; он вовсе не отказывался от беседы, потому что не отпел еще положенного срока, но требовал соблюдения хотя бы тех внешних приличий, к каким обязывало их общественное положение. Угроза Скутаревского рассмешила его; станция уже пошла в эксплуатацию, пускай – в силу затраченного капитала, а Сергей Андреич слишком отошел от строительной практики дня, которую сурово корректировала вздыбленная советская экономика. В тот период вся технология материала и людей подвергалась пересмотру, и при этом, например, неожиданно обнаружилось, что человек всегда может больше, чем ему приказывают. И он улыбнулся с той великодушной ласковостью, с которой сильнейший из двух прощает другу его непредумышленную дерзость.

– Ты повышаешь голос... и даже вид у тебя стал какой-то полотерский. Это значит, родной мой, тебе надо в отпуск. Нельзя до такой степени пренебрегать своим здоровьем. И потом, знаешь ли, глухого песней, а большевиков работой не удивишь!

Он замолчал, прислушиваясь к гулкой банной тишине. Где-то за полком капля за каплей заунывно и звучно падала охлажденная вода. И опять Петр Евграфович посмеивался, потому что нет ничего глупее ссоры двух пьяных и голых людей.

Глава 6

Он знал твердо, что когда-нибудь упадет, и самая высота определит силу падения. По-видимому, из лучших родственных побуждений он решился заблаговременно спасти племянника от последствий неминуемой катастрофы; падая, мог увлечь всех стоящих поблизости. Крепкая и вряд ли только родственная связь между дядей и племянником стала очевидна Сергею Андреичу на примере сибирской электростанции; Петрыгин с его многолетним опытом не мог не видеть чудовищных промахов Арсеньевой работы. Когда на обратном пути Скутаревского постигли некоторые грустные догадки, он решил поближе сойтись с сыном, чтобы разглядеть и оценить его по справедливости. В семье Арсений Сергеевич жил особняком; отец не любил к кому-либо навязываться на дружбу, тем более к сыну; Арсений также не страдал откровенностью, мать же попросту не смела спрашивать любимца. Отец и сын, живя в одной квартире, встречались не чаще раза в неделю. Их краткие беседы всегда отличались шуточной любезностью; Сергей Андреич никогда не вдумывался в смысл подчеркнутой осторожности молодого Скутаревского. И когда недобрые слухи доходили до отца, ему, по его загруженности работой, выгоднее было считать их просто сплетнями.

Сергей Андреич жил трудно. Втайне он стыдился своей славы. Ему хотелось сделать много, а выходило мало. Его работы были ничтожны в сравнении с задуманным, потому что – так ему казалось – всякий исписанный лист – только испорченный лист. В жизнь он ворвался, как грабитель, жадный и неуступчивый, хватаясь за все, и только много позже растерялся от представившегося ему изобилия. Тогда он решил, что растерянностью этой и сигнализирует о себе приближающаяся старость. Вместе с тем он знал, что недоступное его косноязычным формулам осуществимо уже потому, что об этом мечталось именно ему, Скутаревскому. Так, эгоистически выделяя себя из непрерывного человеческого потока и живя как бы воспоминаниями будущего, он завидовал своему не очень отдаленному потомку, который без усилий достигнет всего, над чем бесплодно корпел он сам. В такие-то часы и гнусавил на все четыре этажа его фагот; тогда-то, после долгого промежутка, он и вспоминал о сыне.

Как часто, возвращаясь с работы, он заходил в детскую комнату и шикал при этом на огромные свои башмаки: безмерно важное существо покоилось в крохотной белой кровати. Подолгу, до головокружения, стоя в темноте, он слушал ровное дыхание спящего ребенка. Это был сын – громадное слово, налагающее больше ответственности, чем друг, сильнейшее, чем единомышленник, – он и понесет в будущее, как эстафету, дерзейшие замыслы отца. Со временем новизна впечатления сгладилась, волнение улеглось, и, думая о сыне, уже не испытывал страха перед лотерейной неизвестностью судьбы. Мальчик часто болел, его капризами держался распорядок дома, и когда Сергей Андреич увидел его однажды при дневном свете, ребенок сидел на полу, утомленно поглаживая рдеющие свои уши. Они были петрыгинские, велики и мягки; это стало первым знанием ребенка о самом себе, и еще в детстве, когда этот неуместный росчерк природы приписывали его повышенной музыкальности, он всякий раз ревниво и настойчиво искал уши у приласкавшего его гостя. Музыкантом он не стал, Петрыгины не обладали слухом, а уши остались. Всем обликом своим он напоминал дядю, но когда тот начал уже стареть. От отца к нему перешла лишь молниеносная его вспыльчивость, но без отцовского обаяния, достигнутого годами нужды и работы. На службе он считался передовым инженером; его быстрой карьере способствовало зычное имя его отца. Разумеется, не такого отпрыска ждал себе Скутаревский, и, когда высшая ставка была бита, прежняя надежда выродилась у него в равнодушное любопытство. Ему приходило в голову и раньше, что человек имеет право не походить на ту стандартную модель, которую придумал для него тупой и честный доброжелатель.

Выходя в тот день из института, он смутно помнил, как утром, давая распоряжения по хозяйству, жена обмолвилась о предстоящей вечеринке у сына. Сергею Андреичу показалось занятной мысль прийти незваным и поразвлечься у молодежи. После поломки драндулета никаких иных развлечений ему не оставалось: спектакли и концерты начинались слишком рано. Пирушку сына он представлял себе приблизительно такой же, какие бывали в давние годы студенчества: соберутся, выпьют кислятинки, пошумят про народ и Волгу и разойдутся в умилении о себе и о дивном будущем родины своей. Самая возможность окунуться с головой в собственную юность развеселила его... По дороге домой он купил какой-то рыбы в панцирной кожуре и несколько бутылок знакомого с юности винца. При этом даже кольнула досада, что не захватил с собой Черимова, который давно уже собирался навестить товарища. Поднимаясь к себе в этаж, он из хитрости несколько изменил походку и подвинул шляпу набекрень, чтоб чересчур трезвым видом не спугивать приподнятого настроения пирушки.

Дверь ему открыла сама Анна Евграфовна; она испугалась его вида и того надтреснутого баса, которым он спросил, тут ли принимают гостей. Она намекнула, что у Арсения собралась исключительно молодежь, но муж только подмигнул ей, как бы говоря, что он сам не водится со стариками... Кто-то читал нараспев стихи. Вешая свое пальто поверх вороха разной одежды, Сергей Андреич прислушался – он недолюбливал поэтическое племя, в старое время ему доводилось изредка полистать их книжки, и всегда его изумляло, как у них хватает совести воспевать эту громадную российскую пустыню, посреди которой кощунственно лежит разбитое мужицкое колесо, безмерность солончаков, куликов на топях, незадачливую импотентную любовь, ядовитый пепел несовершенных желаний и, наконец, это нищенское уныние северной весны; из книг, далеких от его науки, Сергей Андреич перечитывал только Рабле. С некоторым огорчением он признал по голосу того бледного князца, гимназического Арсеньева товарища, который в каждое свое появление надоедал ему, бывало, стихами. На свое счастье, Сергей Андреич услышал лишь заключительные строфы, пропетые с такой чрезвычайной интонацией, что становилось даже как-то неловко за эту чрезмерную и непрошеную откровенность:

...женщины наши гаснут,
ботинки наши изношены,
поэты расстреляны,
знамена истлели...

Стройтесь, батальоны мертвых,
играй поход, барабанщик...
Здравствуй, черное солнце
полуденной стороны!

Держа вино на вытянутых руках и плохо соображая о происходящем за дверью, он вспомнил одну прогулку с тем самым Брюхе, судьба которого таила в себе такие печальные сюрпризы. Случилось это полгода назад, на майской демонстрации; вдвоем они гуляли по городу, наблюдая бесконечные людские колонны и шепотом обмениваясь впечатлениями. Когда мимо проходил отряд физкультурниц, обтянутых пестрыми спортивными фуфайками, Брюхе зашекотал усами ухо Скутаревского: «Новое племя, обратите внимание, и даже оболочки другие. Грудастые-то все какие, тетки, а совсем еще девочки. Икры-то, икры-то какие! Тут уж, батенька, без лирики, без лютни, а все просто, как в инкубаторе...» Было холодно по-майски, еще снег лежал в полях; плотные, голые икры девушек розово светились под солнцем, и этот грубоватый румянец вызывал желчное осуждение старика, который еще в бытность за границей задумывался о сущности коротких юбок, тут же объяснил, что всякий молодой класс, шагающий к победе, обязан выставить именно таких – огромных и грудастых. Он обязан рожать много и

бурно, его дети должны быть прожорливы и румяны, его матери – могучи и плодородны. Европейскую моду на плоскогрудых он расшифровал просто: им уже незачем... Брюхе взглянул на него, как на черта. И уж если угасали женщины и замолкали поэты – значит, были они из того Геркуланума, которого очертанья почти утонули под пеплом времени. Минуту он колебался, стоило ли ему вступить в это сомнительное торжество, но дверь распахнулась, и его высокая костистая фигура стала видна всем. Он вошел...

...он вошел, улыбаясь с особой приятностью, что ему всегда плохо удавалось; он даже пришаркивал, чтобы вышло посмешнее. Его присутствие могло нагнать тоску на молодежь, но, по счастью, оказалось, что вся она достаточно зрелого возраста. В просторной комнате, прокуренной до последней пакости, качались какие-то лица, качались на тощих шеях и гудели. Чтец еще стоял в эмоциональном потрясении, пронзительно глядя на широкое блюдо, где остатки колбас и севрюг мешались с окурками. И оттого, что одна распитая бутылка бесстыдно лежала прямо на тахте, рядом с девушкой, в прическе которой замечался прискорбный беспорядок, Сергей Андреич заключил, что явился в самом разгаре вечеринки. Его встретили вопросительным молчанием, а девица громко засмеялась. Сергей Андреич узнал ее, она часто ходила к Арсению; все ее лицо было воспалено, точно обожженное солнцем, и как будто затем лишь было ее лицо, чтобы носить эти непрестанно алкающие губы. Мужчины смущенно привстали, женщины переглядывались. Сидеть остался только один, – откинувшись затылком на спинку кресла, он насмешливыми глазами взирал на смятение гостей. Ясно, он презирал эту пеструю ораву; его совсем заурядное лицо было неподвижно, и только в губах, сломанных тайной издевкой, читалась темная, недобрая путаница. Сергей Андреич дружелюбно поклонился этому рано лысеющему человеку, – так вот оно, это острое, ранящее слово: сын.

– Это мой пай, – развязно произнес Сергей Андреич, складывая покупки на свободный угол стола. Никто не откликнулся ему. – Не помешаю?

– Просим, просим... – сказали несколько голосов, и потом, после паузы, некая личность в роскошных брюках и с головою круглее глобуса пропела искусным петушиным голосом: «Просим!»

– Я прошу вас, садитесь же! – настороженно попросил Сергей Андреич и виновато ждал, пока все уселись на прежние места.

Из приличия назвав себя, он уселся было в дальнем углу комнаты, и тотчас же помянутая личность стала лить желтое вино в стоящий перед ним стакан.

– Я – тамада. В переводе означает распорядитель пира! – И личность поощрительно склонилась.

– ...приятно! Профессор, – шутливо отвечал Сергей Андреич.

– Придется выпить, – прогремела личность, на ладони подавая стакан. – Догнать и перегнать...

– Я ведь не пью совсем, – уклонился Сергей Андреич, отставляя колени в сторону, потому что стакан покачивался и вино выплескивалось через край. – Разве уж по-студенчески?

– По-студенчески, – механически повторила личность и, когда Сергей Андреич выпил, очень мелодично, в такт последнему глотку прищелкнула языком. – Теперь вторую.

Сергей Андреич попытался решительно отвести наглую, с пузатыми ногтями руку, в которой покачивалась посуда, но личность не отступала. У нее было круглое плоское лицо, на таких особенно успешно выращиваются бакенбарды; и еще казалось, что, если надеть на него штаны, никто не поймет сначала – в чем шутка. Минутой позже Сергей Андреич вспомнил: этого самого болвана он провалил года полтора назад на выпускных испытаниях. Студент не знал... да, он не знал формулы об электрическом смещении; попутно, рассчитывая на профессорское снисхождение, он посмел упомянуть о близком знакомстве с Арсением. Насколько Скутаревскому помнилось, он провалил его с чувством исполненного долга и даже спросил на

прощанье, не болен ли студент малярией: болезнь эту почитал почему-то лодырной. Но вот роли переменялись, и...

– Прошу, – повторила личность с равнодушным лицом.

– Но мне нельзя... мне запрещено! чудак вы! – из последних сил оборонялся профессор.

– Тогда с медицинской целью! – бесстрастно сказал глобус, а колено Сергея Андреича слегка подмокло.

Сердито пожевав губами, он выпил вторую и исподлобья огляделся. Гости обступили их кружком, глаза на такое редкостное и даже истории достойное событие. Веселье разгоралось, барышни хихикали. Сергей Андреич чувствовал себя жуком на булавке, которого все тычут пальцами. С непривычки вино ударило ему в голову, и тогда он поймал на себе пристальный любопытный взгляд сына. Обрадовавшись поводу, он кивнул Арсению как бы для установления связи, но тот не изменил выражения глаз и отвел их на какую-то незначительную точку.

– Третью, профессор! – деловито провозгласил тамада, на просвет разглядывая бутылку.

– Вы портите мне брюки, – сдержанно сказал Сергей Андреич, уже помышляя о бегстве.

– А ну, под Омар Хайяма!

И тотчас же, в сопровождении выискавшихся охотников, стал читать заунывно и нараспев что-то не очень членораздельное, но действительно искрившееся восточной, ковровой пестрядью. Там упоминались цветы, улыбки, девушки, и все эти словесные розы раскидывались с такой щедростью лишь затем, чтоб заглушить резкий сивушный запах. Сергей Андреич хмурился; становилось понятно, по какому признаку подбирал себе Арсений друзей. Все они были с какими-нибудь органическими пороками, с неблагополучием рта, носа или ушей, а лица иных и вовсе напоминали безжизненные стеариновые муляжи. Хайям все длился, а глобусный шар покачивался, флуоресцируя, поворачиваясь фазами: так, неожиданно Сергей Андреич увидел Южную Америку, висящую в виде уха. И вот он понял, что непременно промнет кулаком этот назойливый глянцевиный картон, если тот произнесет еще хотя бы слово.

Но вместо этого он засмеялся.

– А ну, читайте... быстро... закон об электрическом смещении, – строго приказал Сергей Андреич, уставляя длинный палец в растерявшегося тамаду. – Ну!.. полное смещение сквозь любую замкнутую поверхность, – подсказывал он, и злые ноздри его играли, – в направлении изнутри наружу... ну, чему равно? Я знаю, для вас электричество – это если сургуч потереть о штаны...

Личность поблекла и растерялась; Сергей Андреич переходил в наступление, и никто не спешил на помощь к избиваемому. Барышни снова смеялись, но кружок редел, потому что следующий удар Скутаревского мог прийтись по любому из них. Кто-то догадался запустить граммофон, тотчас же несколько пар, склеившись, каталептически заходили по комнате. Длинный стол с остатками закусок оказался сдвинутым к стене; комната наполнилась шарканьем ног и шипеньем разъезженного эбонита, а перед Сергеем Андреичем сидел уже он сам, Арсений. То ли от вина, то ли от сознания, что сейчас произойдет очень значительный разговор, он был бледен и неестествен, но насмешлив. Возможно, несмотря на всю неприязнь к отцу, он трусил этого прямого и грубоватого человека.

– Что ж, выпьем, – сказал, разойдясь, старший и придвинул бутылку. – Пьешь?

– *Nisi falemicum*¹, – и вызываяще взмахнул бровями. – Пришел посмотреть? Да, живу смешно. Чего ты все на Нинку смотришь... нравится?

– Где ты ее достал?

– Так, зацепил мимоходом. Эй, Нинка, ты отцу нравишься! – покричал он, обернувшись, и та прищурилась с готовностью. Они по-мужски, скрытно посмеялись, отец и сын, но и это не прибавило близости. – Хочешь курить? – И протянул коробку.

¹ Только фалернское (*лат.*).

– Вот ты даже не знаешь, что я не курю. Дверью в дверь живем, а как чужие.

– Чужие... Это похоже.

И умолк; так умолкают, вспомнив о покойнике. Тут оправившийся тамада наклонился к Арсению спросить о добавочном винном запасе.

– Пошел вон... и потом уйми того вертлявого купидона в углу! – внятно прошелестел Арсений.

– Откуда ты их набрал, Сенник? – все шурился отец. – Ведь это все прохвосты, у них финки в карманах!

Тот оглянулся на танцующих, и опять Сергей Андреич удивился тому ужасному равнодушию, которое светилось в глазах Арсения. Танец был прост, понятен и доступен даже при ожирении сердца; когда-то очень модный в Европе, теперь он сходил со сцены, но весть об этом еще не докатилась до Арсеньева захолустья.

– Да, ты, пожалуй, прав. Все это – подполье. Беру тех, какие есть, – и глотнул отцовского вина. – Где ты купил такую мерзость?

– ...по-моему, ничего... кисленькое.

– ...такое пьют на открытии бань! – Он налил себе другого. – Мне сказали, ты недоволен станцией?

– Я заявил себя при особом мнении. В конце концов это порочит всю нашу корпорацию. Я уже не говорю о резервах, которые бессмысленны...

– Да ты не оправдывайся, отец. Дело-то уже сделано! Ты слишком быстро усвоил официальную терминологию на эти вещи. Ты обвиняешь, не зная условий, в которых это происходило. Впрочем, у нас в случае катастрофы всегда привыкли искать виновников, а не спрашивать, почему это произошло. Я читал твое мнение, ты заражен той же подозрительностью, но ведь ты же никогда не строил котлов...

– Мне пришлось краснеть за тебя, но пока я не обвиняю, – чужим голосом и с ударением вставил Сергей Андреич.

– Нет, ты обвиняешь!.. молча, по-интеллигентски. И ты забыл, где живешь. У нас да без резервов! Это в России-то, где без болотных сапог к соседу в гости не пройдешь. Дядя рассказывал, он еще доцентом купцу одному чертежи делал. Так он ему, подлецу, вчетверо заказал, вчетверо... а тот ему в благодарность Тьеполо прислал. Помнишь, которую в музей отобрали? Тяжел, но вынослив тот сапог, в котором она шагает, матушка, по своим историческим болотам. Я же на этой штуке неврастению заработал. Торфяную станцию приказали проектировать на парафинистом мазуте. Я сделал четыре проекта и до последнего момента не знал, будет ли станция разрешена. С оборудованием четыре месяца крутили – заказывать здесь или импортное. Турбину, как невесту, выбирали... и это называется плановостью? Энтузиастическая истерика, отец. Конечно, наше дело выполнять директивы... Да, к чему это я? Прости, я выпил лишнее и все соскакиваю с мысли. Но почему ты молчишь?

– Я слушаю тебя, очень интересно. Ты продолжай...

Скупно, точно пасту из тюбика, Арсений выдавил из себя кусок улыбки:

– Ты знаешь, что Брюхе арестован?

– Я ждал этого, – почему-то вырвалось у старшего Скутаревского.

– ...вот, вот. А Брюхе выдающийся металлург, в любую минуту его возьмут хоть к Круппу. Впрочем, все это неинтересно. У меня что-то в голове сломалось... кажется, в вино нынче для цвета и вязкости примешивают шеллак!.. погоди, я вспомнил... Я рад этому разговору, дальше все яснее будет. Вот: не уважаю тебя, не хочу лгать, молчать не хочу. Я перестал тебя уважать, когда ты... не отозвался никак на расстрел Игнатия Федоровича. Трусость, ладно, это еще понятно... нет, я знаю твое рассуждение о том, что государство вправе рационально распределять запасы, так сказать, людской материи. И если опыт не удался, следует сполоснуть колбу и выплеснуть в раковину... а может быть, и просто разбить? Это ведь твои слова: нечего

горевать об утрате каждой отдельной особи... я еще мальчиком слышал. Ты ведь и раньше прощал этой земле все: войны, дома терпимости, крестовые походы, мечтателей в стиле Чингисов и Торквемад... И это не от безвольного великодушия, не от расслабленности интеллигентской, а потому, что для тебя это лишь электрохимические процессы... Эй, не хамить! – прикрикнул он какой-то паре, которая в увлечении этакой двойной молекулой наскочила на него. – Даже не политэкономия, свирепую мораль которой мы все ощущаем на себе, а просто движение атомов по Лапласовым координатам, игра сложного химического реактива, совокупность миллиарда физических законов, электронный ветер... вот что такое для тебя мир! Помнишь, мы ехали в машине, и ты засмеялся, сказав: мы едем – это только название процесса, к которому мы сами не имеем никакого отношения! И тогда все ясно: закон Гей-Люссака – это добро или зло? Это нужно или не нужно? Ха, мораль даже не из биологии, а из физики: ты выращиваешь ее внутри твоих газотронов. Но внутренне ты чувствуешь, как это нечестно по отношению к жизни, и оттого ты слушаешь меня! Что ж, чтоб жить теперь, каждый обязан выдумать себе подходящую философию.

– Ты зубр, Сенник, ты просто зубр. Но ты ругаешься интересно... продолжай!

– Вот и я для тебя только колба... но ведь и все они то же самое, а? А человечество в целом – соответствует ли оно твоей догме? – И снова стрельнул в отца злым смешком. – Скажи мне, оплот советской власти, где тот человек, для которого все это делается?

– Что ж, Арсений, не цитатами мне с тобой разговаривать. Но давай вернемся к земле! Почему же, если ты самолично наблюдал всю эту вьюгу дурачества, вот с парафинистым-то мазутом... почему ты не закричал? Ведь тебе же деньги платят...

– ...донести? Ты меня не учил этому. – И вдруг, точно обозлившись на свою оговорку, в открытую набросился на отца: – А ты сам? Вы ездите, критикуете, вожди, а сами обследуете причины свечения рыб? – Он нарочно хотел обидеть его петрыгинской фразой. – А где... где твоя высоковольтная магистраль Донбасс – Москва, о которой шумели в газетах? Где твои многоуважаемые труды по передаче без проводов? Уж если так, вожди, – пожалуйста к нам, на улицу, в наши суматошные, истеганные будни, в разрытые карьеры, в дырявые бараки наши.

Сергей Андреич молчал, – возражать было бы бессмысленно, да и нечем, к тому же пора было кончать этот затянувшийся разрыв. Никто из них не нуждался в продолжении беседы. Рассеянным взором Сергей Андреич смотрел на сына, на его узкие плечи, на возросшую бледность лба с испариной утомления и думал – неужели это и есть концовка того ненасытного рода искателей, который он лишь собирался начать? Должно быть, какой-то захудалый предок высунулся из Арсения полюбопытствовать на новую жизнь; отец не прикасался к алкоголю, но прадед, кажется, не умел подавить в себе губительной склонности. Опыт с сыном не удался... А ему так хотелось повеселиться, пошуметь, попеть высоким дискантом, как в юности. Он встал и уже не пытался казаться веселым.

– Ну, вы табелируйте тут, я пойду... – Он заметил неприязненную гримаску сына. – Ты извини, я груб на слово... Твой отец профессор, а мой – скорняк. Я тихонько, не прощаясь!

– А то посиди. Они сейчас перестанут танцевать. Я прикажу перестать...

– Я рано встаю, Сенник. Вот дожду только бутерброд и пойду. Я не обедал нынче... – Он жевал вяло, лососина имела привкус стоялой олифы.

Сын отошел к окну; отец искоса наблюдал, как сомнамбулически пробирался он между танцующих, наступая на ноги и бранясь. Сергей Андреич оглянулся на шорох; в кресле, рядышком совсем, сидел тот князец, который потчевал стихами друзей в начале вечеринки. В лице его, тусклом и пыльном, как герб фамилии, которую он носил, светилось тоненькое, лисье любопытство; часть разговора с Арсением он успел захватить и выслушал с удовольствием. Проходя мимо, Сергей Андреич задержал на нем свой тяжелый, незрячий глаз:

– Давно пишете?

Тот польщенно поклонился:

– Давно-с. Вам понравилось?

– Где вы теперь?

– Я?... Переводчик в гостинице для иностранцев. – И опять, с надеждой: – Понравилось вам?

– Ага. – жевал лососину. – Что же не пьете? Такие стихи пишете, а не пьете. Вам запоем пить надо. У вас, наверно, и папа пил... – Тот безмолвствовал, как простреленный. – Онанизмом занимаетесь? – У поэта отвалилась челюсть, и весь он дрожал. – Непременно занимайтесь! – И пошел.

Близ рассвета его разбудили песней; она проникла даже сквозь одеяло, в которое с головой закутался. Тут у него проскочили две мысли: первая – что нет особого греха в том, что сибирская станция несколько лишена облика вполне современной установки; вторая – намекнуть Черимову на душевное нездоровье его бывшего товарища, а при случае крупно поговорить и с шурином.

Глава 7

Когда при встрече, много лет спустя, они перечисляли обстоятельства их первого знакомства, оба не могли вспомнить – кто именно стоял на их левом фланге: красные или белые; одинаково могли быть и зеленые, а вероятнее всего, черная атаманская дивизия... Два разбитых, исковерканных отряда слились в один. Будущие друзья встретились за плоской тощих солдатских шей. Молчание нечеловеческой усталости было их первой беседой. У Черимова не было ложки, у Арсения нашлась лишняя от пропавшего без вести товарища. Оба были мальчишки, их могли бы сблизить озорство юности или благоговейное восхищение Гарасей... Но дружба началась позже: их связали страх и чары одной безумной ночи...

Так обнюхиваются и звери на узкой лесной тропе; было, значит, что-то в лице Арсения, подсказавшее Черимову – не свой!

– Ты из Москвы? Я тоже. Твой отец кто?

– Мой? Учитель. – Голос Арсения дрогнул от непривычки лгать: было бы долго объяснять тому грубоватому самородному парню тонкое профессорское ремесло.

– О, значит, ты чистой масти. У меня дядька есть, тоже не грязной работы. Он людей моет, грязь с них обскребает... – и захохотал, точно яблоки на гулкий пол чулана просыпались из мешка. – Покурить ма?...

Отряд кочевал подобно сотням таких же, безымянных, партизанских... ими тогда всклубил ось чуть ли не все население Сибири. Видно, не особо нуждался в комиссаре отряд, – комиссарил у них, избранный за великую его грамотность, Сенька, а командовал сухонький, земляного цвета старичок, мирный пчеловод, у которого атаман заперол старуху в поучение сельчанам, прятавшим красных от расправы. В то утро старик искал в лесу отроившихся пчел и не слышал выстрелов атаманского набега. Придя домой, он обровнял просто руками хозяйкин холмик, который небрежно накидали атаманцы, раздарил медоносное свое богатство соседям, поклонился селу – хатам, гумнам и скворешням его, надел кожух, рожок с порохом, взял шомпольное ружьецо и пошел с ним на охоту на атамана. Был он самый смиренный человек на земле, жил простецким законом, обожал пчел, и всякое, даже о самом малом, слово его теплилось восковой свечой. И уж если вышел он добывать чужой крови, стало быть, сама земля оскорблена была в своем естестве, и начиналась народная война... Отрядишко подобрался по начальнику – всякая неграмотная голица, ветру родня; ребята звали старика ласкательно Гарасей.

Тайга окружала их, как западня, как мать, как вечность. Из поверженных, полустгнивших стволов, в разворотах, в распадинах, обок могучей папороти, выбивались новые великаны поколенья; могила одних служила колыбелью прочим. И когда громадное вечернее солнце пламенило хвойные верхушки, тайга влекла в себя неотступно, как простая, мужественная песня... Фронт простирался необъятно, много раз пересеченный болотами, и по-над ними, подобно царскому орлу, у которого срубили одну лишь голову, кружил помянутый атаман со своей отборной, косоглазой дружиной. Порой, оголодав, сникал он к земле, и тогда впереди неслись – вспугнутое зверье да острей сабель бабьи вопли, а позади стлалось легкое бездымное зарево, – мужицкие деревни кудревато горят, чисто плотно, залиvisto... Все не удавалась Гарасина охота: отряд, через посредство Черимова, иные получал оперативные задания, да и шибко летали сытые атаманские кони. Но, чуть отдых, Гарася выходил на опушку и прилежно обнюхивал воздух на четыре стороны света: то ли уж обезумел, то ли по запаху надеялся отыскать законную свою добычу – «...а пахнет он сладким заграничным табачком и чуток вроде как резинковой пригарью!» – проникновенно поучал Гарася, и ребята слушали тревожно, как шорох, как одинокий выстрел, как всплеск рыбы на вечерней реке. Воистину роскошный существовал в Гарасином воображении атаман: крыльями, как у орленка, топорщились эполеты, и малиновый ментик за плечами цвета алой, пролитой им неповинной крови. Много лет спустя,

со скуки листая журналишко семнадцатого года, Черимов наткнулся на его портрет и долго не мог перевернуть страницу; порубленный атаман еще жил; его раздвоенный подбородок вздрагивал от близости горячего черимовского мяса; его агатовые под черно-бурой бровью глаза еще улыбались и двигались на выцветавшей бумаге.

... Однажды повезло: отряд наткнулся на легкую атаманскую полубатарею. Видимо, одурев от удачи, ринулся Гарася с отрядом в тыл батареи; он был мужик, ходил по прямой своего сердца, и ни Черимов, ни кто другой не успел удержать его от неминуемого. Батарея обернулась принять негданных гостей на картечь. Кто-то крикнул, и тотчас же в ослепительном грохоте дрогнула сама планета. В этот двенадцатиградусный угол пулевого разлета попало все храброе Гарасино воинство; искрошенное, оно осталось висеть на проволоке, как бы поклоняясь величию непобедимого. Следующие залпы были излишни, но ворон боится живых глаз и охотно клюет мертвые... Ночью Черимов со Скутаревским выкрали Гарасю из-под убитых. Когда взошла овальная малиновая луна, они увидели: Гарасе не повезло на поединке. Шрапнельная пуля засела в животе, лицо опалилось, и даже пороховой его рожок оторвало с ремня ударом. Он был еще в сознании и вспоминал покойницу жену:

– ...дородна была... так они ее загодя драли... – И все косился, с изумлением и ненавистью, на простреленный свой живот; он прожил еще немало часов, но то были последние его разумные слова.

Оставлять живого на звериные, по клочкам, похороны не позволила партизанская совесть. Товарищи переплели скрещенные руки и, усадив старика, бережно понесли. Старик бредил, но бредили и они; он стал тяжелее; огромные его сапоги, подкованные железом и носками вовнутрь, болтались и били их в колени. Чуть не плача, они разули его, но равновесие изменилось, и он вовсе стал падать; они, не сговариваясь, поддерживали его сомкнутыми плечами. Так началась эта странная дружба; крепкое сплетение их рук, плотное, как в клятве, длилось всю ночь, которая выпала длинней столетья. Комаром, гнусом и еще чем-то тонкостным, со щекотными усиками, облепляло их опухшие лица; нельзя было обмахнуться, не потревожив старика, и следовало идти все дальше, – еще чудился застрявший в ушах малиновый звон шпор и дробный топот копыт по дороге. Никто не знал троп, и оба не умели прочесть на деревьях старые, заплывшие засечки, отметины корейцев, добывателей женьшеня... Они шли, качаясь от одури, жажды и огня, пожиравшего изнутри, а следом волочилась луна. Они были совсем мальчишки, и, когда на ночлеге Черимов стал разводиться костер, чтоб отогнать гнуса, молодой воспротивился: в полубреду мерещилось – в световой их островок вхлынет тьма, перепутанная с казаками, и смоеет их вместе с горящим сучьем. Они спорили долго, пока не повалил их сон. Утром они не нашли возле себя Гараси, – старик ночью уполз за куст и там умер; так же, ища себе укромного места, делает всякий вольный зверь. Старик лежал на животе и, далеко откинув руки, как бы стучался в непарадную дверь земли. Новые друзья закопали его в яме, вырытой руками. Не было даже ножа перерезать толстые трубы, по которым текли смолистые соки Уссурийской тайги: они просто засунули его под корни и забросали песком.

... Фронты распались, дороги назад стали свободны, на восток уже проникали советские люди и книги, и лишь у Забайкалья, где все теснее смыкал предсмертные круги атаман, их провели сокрытыми, обходными тропами. Домой они вернулись сумрачным мартовским утром, без багажа, в рваных шинелях, в серой солдатской коросте. Арсения сразу увела к себе мать; из дальней комнаты слышались всхлипыванья и усердные, точно целый батальон родственников собрался там, чмоканья.

Черимов стоял в прихожей один: он долго и безуспешно шаркал ногами о коврик, пытаясь вытереть дырявые, проволокой подвязанные подошвы. Он робел гипсов на шкафу, белых как покойники, он пугался обилия вещей, назначения которых не знал; уже он подумывал о бегстве, когда в дверях, взволнованно кашляя, показался сам.

– А, догадываюсь. – Он махнул пальцем. – Сеник писал мне. Он там, с матерью. Ну, входите, ушкуйник, поговорим. – В мыслях своих он не особенно верил в приключения этих мальчишек. – Ну рассказывайте, кого убивали?... вы ведь и есть Гарася?

– Не, Гарася загнулся. А я Колька, он, наверно, и про меня писал, – вздохнул Черимов, продолжая стоять, а в глазах читалось грустное: эх, покормил бы сперва.

Об этом не раз приходилось просить в простых крестьянских хатах, куда заводила волчья партизанская судьба: там эти слова выговаривались просто, глаза в глаза и сердцем в сердце, а здесь вдруг одеревенел язык, точно стыдно было признаться в голоде перед чистым, нестреляным человеком.

– Да, итак... – делал вслух свои наблюдения Сергей Андреич; седой пряди на виске, душевной царапины той ночи, он не разглядел сперва. Гость находился в том юношеском возрасте, когда еще смешная, неопрятная лезет из щек борода. – Родных у вас... тетки, например, или там золовки, конечно, нету. – Он считал, что ловко умеет разговаривать с простонародьем. – Вид у вас азиатский вполне, ха, у Гензериха, наверно, бывали такие адъютанты... имеете намерение устраиваться в Москве?

– Ось, гадюка... сапоги сочатся, – укоризненно, в одно слово, произнес Черимов, глядя на следы, уходившие под дверь.

Вопрос хозяина он расслышал, но не опровергал его заключения; он решил, что дядька умер: именно такие людские бревна единым махом сгорали в сыпняке.

– У нас, в институте, – продолжал Сергей Андреич, – найдется для вас место. Я помогу вам устроиться. Нам нужен честный, расторопный рассыльный. Не запиваете?

– Вот, не подойдет, – грустно сказал Черимов, переступая с ноги на ногу.

Сергей Андреич пожал плечами, и, хотя внешность собеседника не внушала подозрений, он бегло поинтересовался, нет ли у него малярии. Его поразило черимовское заявление о намерении учиться; это не вязалось с репутацией головореза, которая сложилась у него по преувеличенным отзывам сына, – Арсений романтически приукрашивал действительность.

– Да... но учиться следовало раньше, а вы там с Сеником фортеля творили. Впрочем, у него имеется, по крайней мере, средняя школа, у Сеника. Ау вас и того нет... – Он не отговаривал, а только сомневался. – Трудновато будет...

– Ничего, – тихо сказал тот и страдальчески покосился на дверь, из-за которой доносился топливый дребезг посуды.

Скутаревский рассмеялся: вот так же и Деви собирался нанять в переплетчики пришедшего к нему Фарадея. Было ему смешно, потому что и сам таким же оборвышем пришел в жизнь, вихрастым, в ломоносовских опорках, с одной пока несбыточной мечтой – стать машинистом при настоящем шипучем паровозе. Он развеселился, и, по правде, это у него выходило честно и заразительно.

– Это хорошо, знаете, валяйте. Я вам скажу по секрету: в мире нетрудно, судьбы нет, но себя... себя надо брать за холку и этак к земле, к земле! – И он энергично рванул воображаемое. – Жить вы будете у меня... Чего же вы стоите?... Раздевайтесь, снимайте свою попону, здесь не украдут! И пойдем завтракать, я тут проголодался с вами... Ну-с!

– Не могу, – глотая слюну, молвил Черимов. – Поесть охота, а... не могу!

– Торопитесь?

– Не, на мне штанов нет, – выпалил тот и даже зажмурился; даже лицо у него стало какое-то отвлеченное. – Они были, бог душу вынь, но... мы их третьего дня на сало сменяли. Полустанок Егорово, слышали? Фельдшеру... а полустанок Егорово.

– Потрясающе! – от души тешился Скутаревский. – Но ведь без штанов нельзя. Без штанов даже на войне неприлично. Черт, даже памятники в штанах. Так, значит, фельдшеру Егорову?... Слушайте, штаны я вам дам. Но, позвольте, значит, их и у Сеньки нету? Эй, Арсений... – закричал он, лицом к двери, – ...убивец!

В кабинет, с руками, полными ножей и вилок, вбежала горничная в наколке; даже и на голодном режиме того года мадам соблюдала этикет.

– Они в ванне, – строго сообщила она.

Сергей Андреич посмотрел на грустное, давно не мытое лицо, все еще торчавшее перед ним, и комически развел руками:

– Вот видите, они уже в ванне! – И в первый раз, без особой выгоды для сына, сравнил их со стороны.

В профессорском доме, однако, Черимов прожил только неделю; от дальнейшего гостеприимства он благоразумно уклонился. Анна Евграфовна чересчур откровенно запирала от него ящики, и, кроме того, привкус чужого, хотя бы и сладкого хлеба никогда не приходился ему по нраву. Вторую неделю он прогостил у знакомого заделщика со стекольной фабрички, где когда-то и сам тянул драты. В эти раздумчивые дни, шатаясь по улицам, он составлял план своего дальнейшего наступления. Мир был огромен, рыхловат и богат; он был подходящим материалом для беспокойных его рук. К дядьке вовсе не тянуло; голод привел его на ту же фабричку, и целых полгода, по старой памяти, он выдувал какие-то головоломные флаконы для всяких пахучих специй. Восхождение его началось с рабфака, вступительная наука оказалась простой, она запоминалась легко, как номера партбилета и нагана. Потом стало труднее, учебе придавалась фронтальная значимость; самый мешок не успевал вместить ссыпаемого в него зерна. Черимова спасал только спорт. Ему дали стипендию и послали учиться выше. В течение шести последующих лет он не имел никакой личной жизни; вежами в его однообразных буднях служили лишь прочитанные книги. Он читал все подряд, и даже, если ветер нес по улице клочок печатной бумаги, его тянуло заглянуть в него. Ему удалось заслужить уважение профессоров, один оставил его у себя для продолжения научной работы. И когда однажды инженер Арсений получил из неизвестности брошюрку с безвестным именем Черимова, он и не подумал, что автор ее и есть Колька; он свалил это на неряшливость почты и даже не заглянул вовнутрь.

Черимов не оглядывался назад, и, только внезапно получив бумагу о назначении в институт, где когда-то ему предлагали место курьера, он оценил огромность пройденного пути. На минуту мальчишеской радостью захватило его дух и захотелось скорее показать себя в новом, обструганном виде человеку, одобрение которого стало бы ему высшей похвалой. Государство еще не имело достаточного количества ученых, ему не из чего было выбирать, и сама по себе посылка на ответственную должность не могла считаться признанием высокой пригодности... На столе лежала толстая пластина зеркального стекла; все еще держа в руках путевку, он опустил глаза и там, среди недвижных отражений, увидел прежде всего жесткую, волевою складку у себя на переносье, почти шрам, который нанесла ему жизнь. Дальше, под стеклом, лежала бумажка с аккуратным расписанием дня; в три предстояло заседание; он опаздывал. Радость окончилась, он поднялся совсем иным человеком, и стало грустно, что никто в мире, кроме Арсения, не посмеет назвать его по-старому Колькой.

Черимовское назначение в заместители задержалось на целых полгода; вначале предполагалось командировать его просто для научной работы, когда же выяснилась необходимость приблизить деятельность научных учреждений к экономической практике дня, смысл посылки круто изменился. Петр Евграфович, ухитрившийся своевременно узнавать обо всем, предупредил Сергея Андреича через сестру о назначении комиссара и даже сопровождал это крайне нелестными характеристиками; Анна Евграфовна с перепугу что-то забыла, что-то придумала сама, и до Сергея Андреича дошла такая ахинея, что и смеяться не стоило.

Новое начальство пришло к институту пешком, в свежее январское утро, задолго до полудня; оно позвонило у ворот и спросило заместителя директора, но тот еще не приезжал. Черимов прождал час, погулял по коридорчикам, перечитал прошлогоднюю, но за чисто вымытым стеклом стенгазету, потом отправился бродить по институту, и, хотя все здесь было засек-

речено, никто его не остановил. Только у входа в высоковольтный зал стыкнулась с ним хлипкая, облезлого вида особь: «Вам к Скутаревскому?» – «Да, к нему», – машинально ответил тот и прошел мимо. Где-то в углу позади черных трансформаторных цилиндров мерно и оглушительно пощелкивала энергия; эхо обманывало, и казалось, что прямо над самой головой лопаются баллоны с озоном. Гулкое это помещение не имело ни одного окна; слепительный лампачон покачивался посреди прохладного пространства, точно отдуваемый ветром от движущегося Скутаревского, и всюду – в темной глубине масляного бассейна, в отполированной меди разрядников, глазурированном кафеле стен – одновременно раскачивалось отражение звезды. Поднявшись по винтовой лестнице, Черимов увидел Скутаревского. В одном жилете, наклоняясь над перилами, он грозил пальцем монтеру внизу; та же звезда раскачивалась у его ног в маслянистом глянце пола.

– ... того, имейте в виду, что алкоголь проводник, понятно, Касимов? В следующий раз вон... – Он обернулся и увидел Черимова. – Э, кто? – Он потер лоб. – А, припоминаю... это вам я штиблеты дал.

– Вы мне штаны дали, Сергей Андреич, – поправил Черимов, здороваясь.

– ... штаны? Да, в полоску. Хорошие штаны. Штиблеты – это тому, прыщавому. Не знаете, где он теперь?... Хм, не знаете. Ну, принесли назад?

– Нет, износил, – засмеялся Черимов. – Вот приехал представляться. Официально прихожу к вам заместителем, а по существу учеником...

– Я слышал, да. Значит, подучились? – он вскинул пристальные глаза. Он был в работе, и еще шел от него жгучий ветер из глаз, из самых его растопыренных пальцев. – Но ведь у меня есть заместитель по хозяйству, Селянов, слышали?... Моложавый такой, в золотых очках...

– О нем было уже постановление, Сергей Андреич. Видите ли, он оказался бывшим прокурором судебной палаты. В свое время он обвинял группу товарищей, в которой был и...

– Прокурор? – И сипло, простуженно захохотал; машина внизу перестала хлестать слух своими разрядами, и теперь это был единственный во всем зале звук.

Скутаревский стоял боком к Черимову, но вдруг повернулся и брюзгливым, чуть прищуренным глазом смерил своего будущего помощника. Всякие, даже такие чудесные превращения человека он считал естественными: к людям он относился до жестокости строго. Несомненно, имелись у этого молодца в жалком мятом галстучке особые качества, оправдывавшие его назначение.

– Он был странный человек, Селянов. И хотя я люблю чудаков, но, черт, нельзя же в кабинете у себя пасьянсы раскладывать... все-таки тут не судебная палата. Так вы говорите, прокурор? – И опять захохотал. – Вот, охрип совсем, плохо топят, – рвал он как ни попадя слова и вдруг уперся холодным, сухим вопросом: – Формулу Пика помните?

– Нет... я работал последнее время по аппаратостроению.

– Так вот, Пик наврал, – заметив смущение Черимова, неохотно бурчал Скутаревский. – Коронирование идет лишь до полумиллиона вольт, а дальше все его рассуждения летят к черту. Чудно это вышло: ассистент наш от семейного огорчения уронил разрядник и испортил форму... Впрочем, вот, Иван Петрович, объясните сами товарищу. Знакомьтесь, это Геродов!

Здесь, на этой длинной галерейке, был не один; за пультом стоял пожилой человек, в синем комбинезоне, скромный и приятный взгляду. Он нехотя оторвался от вычислений, которые чертил карандашом на листке, сбоку мраморной доски; он был в очках, которые чудовищно увеличивали его глаза.

– ...получилась метина, триста целковых убытку, карикатура в газетке, – знаете, как это у нас? – пояснил он. – Но результат стоит больших тысяч... потому что если изменить формулу токоведущих частей...

– Да, понимаю.

Черимов рассеянно кивал, разглядывая ораву чудовищ, хозяином которых становился.

Скутаревский снова свесился вниз:

– Ханшин, не уходите... сейчас начинаем. – Он мешковато помялся, припоминая институтские неурядки. – А с курьершами ладить можете? У нас их достаточно, но они учатся управлять государством... черт, я не против: когда они выучатся, я уже умру. – И с любопытством покосился на собеседника, как тот примет эту пробную шпильку, но тот промолчал, лишь опустив глаза. – Но пока мне нужны просто курьерши. Очень тяжелая жизнь, знаете, тяжелая. И потом отучите эту балду... вон, внизу, пить. Убьет током, а меня засудят за недогляд... Иван Петрович, прошу...

Возрастая в силе, подобно сирене, поднялось гуденье снизу. Люди отступили по углам и, кажется, стали меньше ростом. Похоже было, будто мириады электрических существ затопились выйти на скользкую полированную медь. Так продолжалось четверть минуты, пока электрические брызги не прорвали тишину.

– Триста восемьдесят тысяч, – сказал глуховатый голос у пульта.

– Шпарьте дальше.

Еще с минуту длилось ожиданье, напоенное низким трансформаторным гудом. Вдруг поток скачущих молний, свивающихся в слепящий столб, родился между полюсами. Обнаженная, сконцентрированная до физической плотности, мчалась к своему равновесию энергия, и треск ее походил, как если бы тысячи остервенелых людей рвали на клочья летящую, распластанную в урагане ткань. Злое, обжигающее глаз божество это остро пахло озоном. Лампирон на мгновение затмился. Иван Петрович разомкнул цепь и отошел от пульта. «Опять пятьсот восемьдесят», – жестяным голосом сообщил он в опустошенной тишине.

Скутаревский стал надевать пиджак:

– Так вот, оставайтесь, молодой человек. Помогите ему посрамлять иностранца.

Разумеется, это было также пробной штучкой старика и, возможно, экзаменом; по крайней мере, так понял Иван Петрович внезапное исчезновение директора. Во всяком случае, повествуя об истории открытия, он углублялся в такие дебри, точно и Черимов заодно с Пиком собирался устыдить в невежестве. Несколько позже, узнав поближе тогдашнего собеседника, Черимов понял, что это была просто страховка себя перед незнакомым коммунистом... Он действительно остался, – этим закончилась научная карьера прокурора и началась собственная черимовская биография; все предшествующее Черимов считал лишь подготовкой к ней... Впрочем, вначале его появление в институте ничем почти не отразилось на внутренних распорядках; слишком много из того, что не касалось непосредственно научной работы, было запущено. И, как позже формулировал в своей речи Черимов, общественная жизнь слабо индуктировалась могучими токами, которые струились за стенами лаборатории. Только через неделю, на первом производственном совещании, Черимов выступил со словом, которое еще ни разу не звучало в этой нарядной, заставленной шкафами зале. Вступительную речь держал Ханшин, не старый еще ученый, малоизвестность которого объяснялась пока не столько отсутствием таланта, сколько соседством яркой славы Скутаревского. Черимов имел достаточно времени и материала для изучения среды, которую ему поручено было перепахивать.

Вначале Черимов улыбался украдкой наивному пониманию событий и значительным, даже страстным интонациям Ханшина. Оратор прихрамывал на каждом политическом слове, слишком непривычном для области, в которой он работал. Единственно чтобы скрыть ненарочную свою и вовсе не злостную улыбку, Черимов время от времени кивал утвердительно головой и записывал что-то в блокноте. Так он записал: заехать к дядьке Матвею... договориться с райсоветом о жилплощади... купить носки и нитки, – Черимов был холост. Как и Ханшин, Черимов сидел в президиуме собрания, чуть позади оратора, и фигура Ханшина была видна ему целиком. Нищета сквозила в нем даже со спины; поношенный пиджак был по-клоунски узок и короток ему; сухие, с круглыми ногтями, руки костисто торчали из рукавов, гладко

выбранные щеки подпирались старомодным крахмальным воротничком, белой и жалкой ветошкой, изглоданной во многих жавельных стирках.

Речь Ханшина действительно далека была от тех образцов, на которых учился Черимов. Говорить он не умел, жесты не соответствовали смысловым кускам, – мысль его не шла синхронно с жестом; он кричал незначашее и шепотом пытался передавать громовость. Он начал с того, что вот века человечество жило, безумно, позорно растрачивая свои силы, не умея по справедливости удовлетворить потребности всех. Новую эру истории надо же когда-нибудь начинать, – честь и труд великого запева рабочий класс предлагает науке делить отныне совместно. Он упомянул, что мир еще не оправился от потрясений недавней войны; и хотя моральные раны заживают на человечестве быстрее, чем на собаке, – именно так определил он циничное забвение и не всегда мудрое ликование уцелевших, – раны на экономике еще гноятся, смертельно заражая обреченные социальные организмы. Горькое и целительное лекарство, которое применила в отношении себя Россия, все еще отвергается политической медициной Европы. Разность систем и политическая ситуация требуют от советского хозяйства величайшего напряжения, и оттого план реконструкции, рассчитанный в целом на энтузиазм коллектива, упирается в доблесть каждого по отдельности.

– ...вчерашний день не хочет закатываться добровольно, – декларационно ударил он словом. – Мы поможем ему в этом, сделав науку неистощимым арсеналом для пролетариата... – Тугим, еще не смятым платком он вытер запотевший лоб и сконфуженно залистал бумаги перед собою.

Аудитория молчала, она ждала Черимова. И по тому, как оживленно, при его появлении, задвигались блики очков, зашуршала невидимая бумага, заволновались люди, минуту назад чопорные и неподвижные бонзы, стало понятно все. В его речи хотели услышать отголосок сокрушительных директив; его приход рассматривался как начало разгрома, дисквалификации института, падения Скутаревского, и кто-то уже острил, что самое здание отдают под столовую губотдела коммунальников.

Это была сложная смесь подозрительной настороженности, порою даже вражды и вместе с тем терпеливого внимания, с которым в иное время они приглядывались и к повадкам своих электронов. Доклад Черимова выслушан был в безупречной тишине.

– Класс никогда не кончает самоубийством, хотя умиранию своему способствует сам, – тезисно начал Черимов и, глядя в затылок Скутаревскому, почему-то подумал, что она сильно слиняла за эти десять лет, пламенная его рыжевatina. – Его гибель, естественно, вызывает судороги в смежных организмах, и в этом заключены причины сомнений, страха и зачастую прямой враждебности их жизнотворным силам революции. Истинно передовой ученый не может быть реакционером по самой конституции своей... – И, дерзко перечислив имена, он беглым взглядом окинул всех тех классиков естественнотнания, которые – одетые в тяжелые дубовые рамы – выглядывали из книжных простенок.

Он запнулся; в этой аудитории митинговый прием не мог сойти за нужную политическую убедительность; не умея пока обойтись без бойкой, захватанной фразы, он машинально потерял висок, и этот жест простого человеческого раздумья переломил настроенье аудитории, хотя бы временно, в его пользу. Программа речи была велика; необходимо было показать, как синтезировались в марксизме достижения естественных наук, подчеркнуть роль ученых в Советской стране и проиллюстрировать примерами, как всякий приходит к социализму через данные своей науки. Выгоднее было начать с параллелей между отношением правящего класса к науке в старое и новое время, и, хотя это выходило из пределов взятого им отрезка времени, он не удержался упомянуть имена Галилея, Бэкона и Джордано.

Он не пренебрегал и мелочами, потому что и они убивают наповал. В его свидетельской шеренге стояли и Попов, которому морское ведомство расщедрилось на триста рублей для опытов; и Зинин, имевший несчастье в царской Казани впервые отыскать анилин; и Бессе-

мер, умерший в нищете; и Фарадей, которому узколобый лорд отказывает в пенсии; и Менделеев, который по совместительству работал дегустатором вин у московского купца Елисеева. Следствия обозначили причину, он стал говорить об импотенции капиталистической системы, которая не в состоянии ни насытить до мудрости своих художников, ни реализовать рекорды своих наук. Это говорил простой рабочий, и тем суровее была его прокурорская речь, что прямолинейному разуму его недоступны были смягчающие обстоятельства...

Никогда еще не доводилось ему говорить так разбросанно, и никогда он не получал таких аплодисментов. Аудитория знала примечательную черимовскую биографию и теперь дружелюбно приветствовала человека, в такой мере потрудившегося над собой. Его вступление в институт Скутаревского могло считаться триумфальным, и собрание подходило к концу, когда произошел эпизод, который один мог рассеять весь черимовский успех. Среди поданных записок оказалась одна, без подписи, и Черимов, торопившийся закончить, с разбегу прочел ее вслух. Анонимный автор просил напомнить ему, где именно у Бебеля сказано, что для построения социализма прежде всего нужно найти страну, которой не жалко. Было так, точно выстрелили вдруг в Черимова из аллегорического букета, который подносили внезапные почитатели его большевистских талантов. С осунувшимся от неожиданности лицом, голосом очень спокойным, даже улыбочатым, Черимов предложил анониму назвать себя. Зал зашумел, задвигался, мнения резко разделились, и, хотя это и было то самое, чего втайне добивался Черимов, праздничность заседания была бесповоротно сорвана.

– Я предлагаю автору записки назваться хотя бы письменно, – повторил Черимов, и взгляд его остановился на симпатичном Иване Петровиче, с которым познакомился на хорах у Скутаревского.

Тот сокрушенно протирал очки и качал головой, осуждая возмутительную неприличность поступка в столь благородном сообществе. А тем временем звонил со злым и сконфуженным лицом:

– Я требую немедленно... назваться этому гражданину. – Видимо, было ему не до грамматики. – Оскорбительный вызов этого... – он пожевал воздух и попробовал вырвать записку из рук Черимова, но тот не отдавал, – ...этого, с позволения сказать, пипифакса позорит всех нас...

Снова в зале поднялся шум, смешанный с раздражением и смехом: какой-то не в меру смешливый человек громко пошутил, что ворота института уже заперты и самый институт оцеплен войсками; некоторые поднялись уходить.

– Я сожалею, – все еще улыбался Черимов, – о трусости моего безграмотного корреспондента. У меня имеется лишний экземпляр биографии Бебеля. Я мог бы послать ему эту книжку даром. Бебель сам был социалист, и, насколько я помню, фраза эта... – ни реплика, ни шорох не прервали паузы, которая у него вышла сама собой, – приведена у покойного ныне врага нашего – Бисмарка. Отмечу, кстати, что на Уссури я охотился на одного, также покойного ныне, атамана, который ругался много цветистей и, по моему убеждению, современной... – Он сел и кивнул Ивану Петровичу, который открыто хлопал ему, кажется, больше всех.

После перерыва Скутаревский отыскал Черимова в коридоре и демонстративно, точно заключал договор дружбы, похлопал его по плечу.

– Вы здорово выросли... хотя так говорят, конечно, только с детьми, которые провинились. Знаете, мне не жалко тех штиблет. Что?... нет, не жалко. Вы, кстати, дайте-ка мне ту поганую записочку... я его сейчас расшифрую, я его в конторе по почерку отыщу.

– Пустяки, Сергей Андреич, – засмеялся Черимов, но записочку все-таки решил сохранить. – Просто злоба обывателей никогда не соответствует их грамотности...

– Ну, вам виднее. – Он накрутил на палец бородку. – В отношении Уатта вы, конечно, пригладили, а насчет Менделеева я проверю, да, насчет Менделеева.

Когда через месяц высшее начальство спросило у Сергея Андреича о его новом заместителе, он удовлетворенно пробубнил, что неизвестно, почетнее ли быть учеником Скутаревского или учителем Черимова. Таким образом, все закончилось к обоюдному удовольствию сторон.

Глава 8

За весь этот срок фронтовые друзья не повидались ни разу и, хотя отрасли их деятельности почти соприкасались, даже не слышали друг о друге. Укрепившись в институте, Черимов зашел однажды к Кунаеву, который неделю проводил на съезде в Москве, и потом они вместе поехали к Скутаревским; Кунаев давно искал более близкого знакомства с Сергеем Андреичем, которого издали уважал и ценил. Жили они все в том же переулочке, и тот же гипсовый Олимп таранился на посетителей при входе. **Старика**, как его называли заглазно, не оказалось дома. Арсений брился перед зеркалом, у матери сидел Федор Андреич... В первое мгновение, пока не разглядели друг друга в подробностях, оба искренне обрадовались встрече; они даже обнялись бы, не будь Арсений в мыле, – во всяком случае, рукопожатия им не хватило, чтоб выразить всю радость о воскресающей дружбе. Потом, когда восклицания иссякли, они уселись вместе на тахте, как бы готовясь к целой неделе обстоятельной беседы.

– А это Кунаев, всеобщее наше начальство. – Черимов не преувеличивал; удивительно круто поднималась кунаевская звезда. – Смотри, Сенька, какая орясина! Знакомьтесь, непременно станете друзьями...

Тот мешковато пожимался, озабоченно щурился на завешанные картинами стены и все косился на дверь, в которую должен был войти отец.

– Ну, вырос ты, как-то поширел... а башка все та же, цыганская. Служишь где-нибудь по артистической части? – допытывался Арсений. – Ты ведь петь пробовал... А как со слухом?

– Нет, я по научной... Да неужели же Сергей Андреич ничего не рассказывал обо мне?

– Мы разошлись немножко, – потупился Арсений. – Так это ты и есть?... тот самый Черимов?

В памяти он держал его совсем другим – задиристым и не без азиатчины парнем, к которому в мыслях всегда относился чуточку свысока; не без самодовольства и даже ставя себе в заслугу, он припоминал тот отдаленный, у костерка, вечерок, – о, эти незадышанные, еще горьковатые вода и воздух юности!.. – когда он сбивчиво и с жаром вдалбливал в Черимова простенькие сведения об амебе. Лекция не выходила из пределов популярного учебника, но Черимову и это было откровением, а Арсению, если покопаться поглубже, приятно было сознавать, что кто-то на свете знает еще меньше, чем он сам. Теперь его постигло странное ощущение, будто перешагнули через него, будто в знакомых с детства стихах любимую строчку подменили плоской и несозвучной. У Арсения нашлось честности сообразить, что новая его эмоция вовсе не похожа на прежние юношеские соревнования... У него на стене висел в рамке давний рисунок дяди на знаменитый пушкинский сюжет о двух музыкантах, молодом и старом; Арсений всегда поражался ничтожеству одного и беспечности другого. И вот наяву из душевных сумерек в сумрак вечера прошмыгнула сутулая тень Сальери; тогда пятнистый румянец проступил по его щекам.

– ...Женат?

– Нет.

– Но уже, конечно, в партии? – напряженно спросил Арсений.

– Аты, конечно, нет? – в тон ему улыбочато откликнулся Черимов и тогда, стремясь избавиться приятеля от ответа, прибавил дружески: – Ты брейся, брейся, а то сидишь в мыле, как судак в подливке. Спешить?... Заседанье?

– Нет, я в театр, – быстро солгал Арсений, и теперь ложь ему удалась гораздо легче, чем десять лет назад. – Дают Игоря...

– Может, и нам поехать? – раздумывал Черимов, вопросительно глядя на Кунаева. – Никогда не слышал этой оперы. Говорят – здорово, а?

Перестав бриться, Арсений с горящими ушами смотрел через зеркало на Кунаева. Тот колебался:

– Не выйдет у меня со временем, пожалуй... Вечером Семен обещал забежать.

И опять Арсений мазал себя пушистой пеной и, хотя успокоился в отношении театра, все еще не мог примириться с новым Черимовым, который в плане житейском становился теперь рядом с ним. Из вежливости он спросил его, как все это произошло; тот отделался шуткой, – не любил говорить о себе. Между тем Арсений видел, что, даже поднявшись на эту высокую гору, он пока еще одышкой не страдал. Заметна была, наоборот, подчеркнутая тщательность в повадках, в речи, костюме и в отлично выбритых щеках; украдкой, по старой привычке, он пригляделся к черимовским ушам: они были нормальны, мочка великолепно закруглялась вверх, они были чисто вымыты. «Бойтся, что заподозрят... догадаются о банной родне», – снисходительно решил Арсений, хотя и знал, что это клевета. То была лишь опрятность механизма, сознающего свою ответственность. «Вот оно, племя младое, незнакомое...» – еще определил он и тут же почувствовал, что отношения их никогда не станут прежними.

– А ты молодцом, Николай. Ты... ловко. Нет, отец не рассказывал, нет. – Он сам брил себе шею, слегка касаясь бритвой. Тонкие эластичные подтяжки, с рисунчатой выделкой, упруго натянулись, и Кунаева всерьез щекотнула смешная догадка, не сделаны ли они из дамского материала. – Слушай, Николай, а ведь через два месяца ровно десять лет... И вот встретились, как это говорится, во втором воплощении. Странная штука жизнь... и есть в ней все-таки тайны, Николай, которых мы так никогда и не узнаем.

Черимов насмешливо покосился в его сторону, и вот уже ни один из них не испытывал сожаления, что со времени давней разлуки они не обменялись и письмом.

– Да, это похоже на тайгу. Все перегнуло, и стало расти другое. Занятно, конечно...

Арсений перебил его:

– А помнишь, мы собирались навестить Гарасю... – Он с особой мягкостью произнес это слово. – Знаешь, я даже хотел разыскивать тебя. Вдруг как-то накатило: ехать, ехать, ехать... Поедем, а?

– Я не помню, о чем ты?

– Когда мы зарывали старика, мы дали обещание посетить его через десять лет. Через два месяца – срок. – И он распространился о Гарасе, возвышая его чуть ли не до былинного старчища, который с рогатиной, один на один, вышел на интервентов; он утверждал, что не пришел еще Гомер этого грозного человеческого бунта, потому что зачатки поэм только раскиданы по ветру и многое пока не проросло; скучную Гарасину гибель он возвышал до подвига, и если в конечном итоге выходило у него не плохо, то оттого лишь, что о смерти и самое дурацкое мудро. Он героизировал все подряд, потому что тем самым и себе, существованию своему создавал оправданье, теплое и уютное, как селение горнее. – Едем?

– Пустяки, Сенька. Старик не обидится, он полежит еще. Мы были тогда щенками, он поймет. А полководец он плохой: за один удар все войско свое потерял... Работать надо, Арсений, а мы все спим.

– Ну, впрочем, мы не спим... – с ироническим холодком поправил Арсений.

– Я сказал – спим, – резко бросил Черимов. – Мы делаем мало, даже если мы делаем много. Мы еще не понимаем смысла переворота, который произошел. Мы допускаем чудовищные резервы... помнишь, Фома, сибирскую торфянку?... – И, почему-то смягчась, прибавил: – Я злой нынче...

– Да, ты сердитый сегодня. Ты и меня в оппортунисты клеил, – тихо упрекнул Кунаев.

– Я на Ширинкина нынче обозлился... да ты его знаешь, Фома! Он из наших, мы кончали вместе. Давеча заехал к нему и... черт его знает, какая расстроилась у него секречия. Понимаешь, Арсений, его одолели вещи, хватательный инстинкт развился, а ведь как дрался-то в Октябре... то есть он депеши по городу под выстрелами таскал еще мальчишкой. И ока-

зался дьявольской пустоты человек. Так он для заполнения дырки вещи в нее впихивает: сервант купил ореховый, абажуры – как юбки кокотки... банкетки, годные только для разврата. И понимаешь, хватило хамства: пианиной хвастался... – Он нарочно исказил слово, чтобы оскорбительней вышло. – Стенвей, говорит, ранних номеров, а всего полтыщи. «Играешь?» – спрашиваю. «Нет, говорит, а для параду». И подмигивает, скотина, взятку дает... «Может, говорю, ты за этой лакированной штукой и на баррикаду лез?» Молчит, молчит... «Ну, говорю, шагай в жизни и портфель свой крепко прижимай к боку, чтоб не вырвали».

– Да, ты злой нынче, – со рдеющими ушами согласился Арсений. – А может, у него мечта была, а ты пришел, надругался да еще, поди, окуроч на клавише оставил.

– Окуроч я ему в китайскую вазу засадил, – сурово поправил Черимов.

– Я хотел сказать, всякий имеет право на свою радость, – неуклюже сформулировал Арсений.

– ...Что-о? – И хохотал, но уже не яблоки, не антоновка незрелая, а хрустящая галька пересыпалась в мешке. – Не имеет... он обязан классу... в нем моя, плебейская кровь. Если мы... если мы проиграем...

– ...хотя это вряд ли, – внушительно вставил Фома.

– ...проиграем – иеромонахи Европой станут править, смекаешь?

Арсений все брился, но дрожала его рука. Уже саднило кожу, а он все брился, потому что следовало в эту минуту спиной стоять к другу и не показывать лица. И он чувствовал, что брань, назначенная для другого, самого его хлещет по щекам. Он заговорил, волнуясь и срываясь с голоса:

– А если усталость?... Мы босыми ногами шагаем по истории, а ты думаешь – не больно. И разве стыдно говорить об этом? Была молодость, романтика, теперь – государство, закон. И потом, ведь социализм-то – ведь это для человека. Я даже допускаю его право сидеть и рисовать домики, если ему надоело воевать, бороться, не спать ночей, если ему надоело нравиться тебе и ежеминутно заслуживать твое одобрение. А может, он хочет, я к примеру, на Малайском архипелаге срубить собственноручно баобаба.

Черимов опустил глаза; было ему стыдно перед Кунаевым за эту словесную размазню. А тот сидел в полном изумлении и все слушал, все слушал.

– Баобаба – это оригинально, но голландцы визы не дадут, – пошутил с кривой усмешкой Черимов. – Ведь ты это про себя! Ну, милый, какая там романтика! В отряде ты был всего три месяца, в двух-трех перестрелках...

– Нет, я и раньше... – отмахнулся Арсений, словно отбивался от руки, которая его раздевала.

– ...я и не спорю. Ты рано начал воспоминаниями жить, товарищ. Вчерашняя романтика всегда хуже сегодняшней. Романтику мы делаем сами. Слушай, Арсений, брось ты этот музей, в котором живешь. Уезжай куда-нибудь на стройку, где каждая строка стоит иной твоей фронтовой страницы... Ты слышал что-нибудь об ударниках? Иди в массы, растопи свой лед, не буксуй зря... Вот Кунаев начинает большое дело на Урале. Он тебя возьмет... Возьмешь его, Кунаев?

Кунаев привстал с серьезным и решительным видом; он был огромен; крупные рябины исказили самый овал его лица; похоже было, будто в детстве жевал его какой-то дикий восточный мор и, поломав зубы, бросил. Арсений близоруко щурился и все не мог понять, почему неприятна ему уверенная, литая кунаевская сила.

– Давай чернила и бумагу, – сказал Кунаев дружественно и зычно. – Счас я напишу тебе назначенье... хотя постой. Едем послезавтра вместе. Я тебя окуну в эту домну по самую макушку. Я твоего отца крепко чту, на большой палец, во.

Арсений молча вытирал бритву, острие ее заманчиво щекотало палец, а Черимову стало скучно. Он опять отошел к шкафу и зорко рассматривал Арсеньевы книги; одолевало его непо-

нятное желание отыскать то, чего там не было. И все еще грязной казалась бритва Арсению... Он слабо пошевелил губами: переродиться. Но надо слишком крепко умереть, чтоб родиться заново. Вода лишь полгода бывает камнем, а потом снова течет. В эту минуту он почти читал черимовские мысли. Первая была: «Как мало общего у него с отцом»; вторая была очень длинная, ленивая и кончалась сочным зевком. Смута и растерянность охватили Арсения. А ведь он искренне берег в себе воспоминание о фронтовой поре как феерической смеси опасностей, случайностей и лишений. Не имея ни силы, ни желания вторично пережить все это, он, однако, не согласился бы вымести из памяти этот драгоценный сор. Он поистине любил отчаянных и погибших друзей: мертвых любить приятно и необременительно... Теперь же стало так, точно они ворвались к нему, эти не очень милые фронтовые призраки, и растоптали уютный уголок, где он взлелеял свое лирическое тщеславие. Вдруг прозрев, он понял, что всегда, заодно с Черимовым, презирал чуть-чуть и Гарасю; он вспомнил, как в потаенной мысли своей, умирая от усталости, он дивился в ту ночь угрюмой Гарасиной живучести; он вспомнил свои ноги, сбитые в кровь корявыми мужицкими сапогами, разбухшие лошадиные трупы посреди романтических пейзажей; он догадался, что ничего не изменилось бы в мире, если бы и его самого расклевала горбоносая падальная птица... Раздетый догола, не смея даже кричать о грабеже, Арсений насильственно улыбался и молчал. Молчание это было одинаково томительно для всех троих.

Вдруг он сказал:

– Чудно... а теперь, может быть, ту пихту уже срубили на экспорт.

– Это Гарасину? – неискусно подхватил Черимов. – Но, позволь, ведь мы его закопали под лиственницей.

– Да нет же, ты забываешь. Это дерево я как сейчас вижу. Чуть наклоненное бурей, корье растрескалось, вершина двойная... и рядом другая, потоньше. И еще почему-то шпора там валялась, а чья – неизвестно. И надо признаться, мы оба испугались ее...

– Вот шпоры не помню, – очень настойчиво и вежливо ответил друг и, потягиваясь, встал, чтобы не садиться больше. – Ну, ты извини, мы ведь мимоходом забежали. Еду в командировку. Что делать, партии не хватает своих инженеров. Да надо еще к дядьке забежать, поругаться. Ничего, что мы задержали тебя в театр?

– Театр?... – смутился Арсений. – Нет, я еще поспею ко второму акту.

В эту минуту вошла мать в сопровождении Федора Андреича. Она не сразу узнала Черимова, который суховатым поклонился ей на пороге. Только после, по конфузливой торопливости, с которой сын побежал провожать гостей, она вспомнила того бесштанного Арсеньева спутника, от которого панически прятала серебряные ложки. С теми же красными ушами, что и сын, она стояла спиной к двери и слушала ужасное молчание бывших друзей. Его не могли заглушить, конечно, поскрипыванья нового кунаевского полушубка.

Впрочем, Арсений сказал:

– Снег не идет?

– Нет, опять потеплело. Когда Фома надевает шубу – наступает оттепель, – и все не мог попасть в рукав, в котором оторвалась подкладка.

– Этот галстук на тебе заграничный? – из последних сил старался удержать что-то Арсений.

Кунаев попрощался и вышел на лестницу, Черимов не расслышал Арсеньева вопроса, и тут что-то вскипело в нем самом:

– ...а ведь я ехал напиться с тобой, Сенька. Ведь мы с тобой сизопузых ворон вместе жрали...

Скользя рукой по убегающему блику перил, Арсений побежал было за ним:

– Ты приходи, Николай, непременно приходи... – «До свиданья!» – кричало навзрыд Арсеньеву сердце. «Нет, навсегда...» – отзывалось неслышное эхо снизу. Тогда, оскорбленно

улыбаясь, растирая в пальцах потухший окурок, Арсений вернулся к себе. В продолжение всего этого нежеланного посещения его одна тревожила боязнь – а вдруг Черимов да еще этот монументальный большевистский праведник останутся на весь вечер? Часам к десяти молодой ждал гостей. Никогда ему еще не приходилось стыдиться своих знакомых, ни по суду не опороченных, ни по службе, но едва только сопоставлял их с Черимовым – разом выяснялось их большее, чем даже расовое, отличие. Внезапно Арсений схватил с подзеркальника газету и пальцем отыскал отдел театральных объявлений; еще немного, и брызнула бы кровь из закушенной губы. В опере давали **Кармен...** Арсению представилось, что Черимов все же уговорил Кунаева поехать на **Игоря**; он увидел, как наяву, – при миганье уличного фонаря Черимов показывает Кунаеву то же самое место в газете, и они смеются, смеются неуклюжей лжи сломавшегося друга. Арсений только учился лгать, и первые уроки давались ему с трудом.

– Ну, здравствуй, – басисто сказал Федор Андреич, не замечая расстроенного племянникова лица. – Кто это был у тебя, такой резкий, неприятный, многообещающий самурай?

Арсений с удивлением к необычному слову поднял глаза.

Федор Андреич курил, созерцая длинный, кудреватый смерч над собою. То был высокий жилистый человек, с белесым, равнодушным лицом и лысой шишковатой головой. Изредка судорога какой-то страсти, никогда не получившей удовлетворения, подергивала его рот. В его руках было что-то от челюстей, которые жуют, пальцы его беспрестанно двигались, как бы ища какую-то утраченную форму. Ничто, кроме пятнышка берлинской лазури на тыльной стороне ладони, не подсказывало о его ремесле. Дядя приходил по пятницам. Ремесло его кормило плохо. У брата он подкармливался.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.